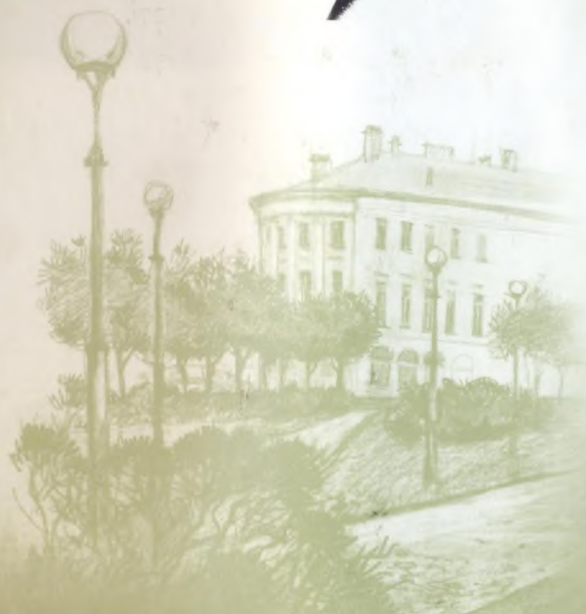


Нина Катерли

Рукою
мастера





журнал ЗВЕЗДА



*Памяти Михаила Григорьевича
Эфроса*

Нина Катерли

Рукою
мастера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2001

Издательство журнала «Звезда»

Катерли Нина

К 29 Рукою мастера. Повесть и рассказы. СПб.: ООО «Издательство журнала “Звезда”». 2001. — 120 с.

ISBN 5-94214-005-7

Это очень личная книга. Вошедшие в нее произведения, повествующие о трудной и достойной жизни послевоенных лет, правдивые и трогательные, окрашены памятью о фактическом соавторе писательницы — ее покойном муже, незаурядном ученом и всесторонне талантливом человеке.

ББК 84. Р7

Автор приносит глубокую благодарность за содействие в издании книги Синтии С. Каплан, Руфи А. Джадсон, Генри Е. Брэиди, Патриции А. Кэтс.

© Катерли Н. С., 2001

© Гусаков В. А., худож. оформление, 2001

© Издательство журнала “Звезда”, состав., 2001

РУКОЮ МАСТЕРА

В ночь на 16 сентября 2000 года ушел из жизни Михаил Эфрос — мой муж, самый близкий друг, и теперь я могу сказать об этом (при жизни он мне такие заявления запрещал), в очень большой степени — соавтор.

Нет, мы, конечно, не писали вместе, но часто он помогал мне придумывать сюжеты, неожиданные повороты, был первым читателем и редактором каждой рукописи. Короткий рассказ он читал целиком, длинные вещи — частями, которые я просила его посмотреть, чтобы он просто сказал — нравится или нет, не пишу ли я никому не интересную муть или «дамские сопли» (мое выражение). Часто он давал мне советы «по ходу дела», а оценки всегда были нелицеприятны. Особенно, когда вместо ободрения я слышала: «Ты же сама знаешь — что да, дамские... именно они!» Иногда обсуждение заканчивалось моим криком: «Все! Я этого писать не буду, я, может, больше вообще никогда и ничего не буду писать! Ты не увидел там ничего стоящего, значит, я графоманка?!» и т. д. «Прекрати шантаж, — отвечал он спокойно, — врать я тебе не стану, сколько ни требуй... А вообще-то из этого могло бы кое-что получиться, если бы...» Дальше следовал совет, который я принимала, если он мне нравился, а если не нравился, как правило, позлившись, а потом поняв, что, в самом деле, пишу нечто малопримечательное, бросала начатую вещь, злобно ворча: «Нет. Больше я никогда ничего не напишу, я чувствую! Никогда!» Наступал перерыв... И возможно, благодаря этим

перерывам я не написала ничего такого, за что мне потом было бы стыдно.

А через какое-то время я писала что-то другое, показывала и робко спрашивала: «Пройдешься рукой мастера?» Знала: если согласится, значит, понравилось, интересно, и он готов принять в работе участие.

Как это происходило? Про некоторые страницы он говорил, что все, мол, в порядке, делать ему здесь нечего... и все же делал две-три правки — чувство слова (как и чувство юмора) у него было абсолютным. А кое-что вдохновенно «уродовал, как Бог черепаху». И я не могла не признать, что стало явно лучше, а написанное мной было бледным и невыразительным. Или просто неправдоподобным. Это обычно касалось отрывков, а то и нескольких страниц, где речь шла о чем-нибудь, в чем он понимал лучше меня. Политика, например. Или диалог рабочих, с которыми он сталкивался по службе постоянно, а я только те несколько далеких лет, что работала инженером (а это было недолго, да и лексика с тех пор изменилась). Или драка.

Бывало, он предлагал мне изменить сюжетную линию или характер героя, доказывая, что, если все пойдет, как я задумала, будет скучно и банально. Но если вещь ему нравилась по-настоящему, целиком, он рвался домой с работы, чтобы взяться за нее, и мог часами сидеть за столом. А то и целые выходные тратил, отрываясь только чтобы вывести погулять собаку.

Конечно, я не всегда соглашалась с его правкой, он обижался, мы спорили, побеждала обычно «дружба» — то есть, действительно, лучший вариант. Вот чего он, как правило, не трогал, — это любовных сцен. То ли они казались ему скучными, но необходимыми по сюжету, то ли считал, что у меня и так получилось неплохо, то ли... Теперь не спросишь. Знаю одно: обманывать меня и утешать, называя черное белым, не стал бы никогда и ни за что.

Недавно, прочтя один мой рассказ, последний из опубликованных в «Звезде», он почему-то грустно заметил, поправив какие-то мелочи: «Ну, вот, ты и научилась писать без меня». Хотя в романе «Дневник сломанной куклы», который, надеюсь, выйдет в начале будущего года, достаточно его участия. В списке моих сочинений, каждого из которых коснулась его рука, повесть «Курзал» и рассказ «Первая ночь» стоят отдельно. Потому что их мы полностью написали вместе и сказать, кто тут главный автор, просто невозможно. «Курзал» — повесть о его детстве. Не автобиографическая — и главный герой не он сам, и мать, и общая фабула. Но повесть содержит множество подробно рассказанных им эпизодов — реалий жизни их послевоенной коммуналки в Кузнечном переулке, разговоров теток, соседей. То, что придумано или изменено, сделано совместно — мы просто сидели рядом и проговаривали каждую фразу. А потом он еще правил диалоги.

Сюжет раннего короткого рассказа «Первая ночь» придумала я, а характер героя и некоторые случаи из его жизни подсказал он. Да и язык обжигальщика термического цеха Кравцова стал живым, благодаря его вмешательству в мой текст. Грустный этот рассказ в какой-то мере сбылся. Только — наоборот. В рассказе Кравцов теряет жену. У нас вышло иначе. Но дерево из рассказа, дуб, кора которого кажется мне теплой, стоит на Марсовом поле, на том самом месте, где я столько раз по вечерам встречала его, едущего с работы, всматриваясь, не идет ли к остановке сорок шестой автобус.

Это он придумал фамилию «Кепкер» в рассказе «Земля бедованная» и заголовок — тоже его. И многие строчки.

22 сентября, в день прощания, когда отзвучали речи коллег о том, каким замечательным инженером и ученым был Михаил Эфрос, выступил Яков Гордин, один из самых близких наших друзей. И сказал, что уверен — не менее талантливым был бы он, стань, допустим, режиссером (этого

ему не позволила, имея в виду «пятый пункт», советская власть) или редактором, или литератором.

Не знаю, как я буду писать теперь. Кто жестко и прямо, но доброжелательно скажет мне правду о том, что я делаю. Скажет, понимая, чего можно ждать и требовать от меня, а на что я просто не способна. Но это уже мои проблемы. Проблемы той, другой жизни, в которой и сама я, очевидно, стану другой, и то, что я смогу (если смогу) написать, — тоже.

Нина Катерли

КУРЗАЛ

Вот моя лужа. Только тогда было утро. Всю ночь громыхал дождь, водосточная труба у нашего окна захлебывалась, а утром невинно засияло солнце, и я пошел на экзамен в одной рубашке (белый верх, черный низ). Черный низ накануне допоздна утюжила тетя Ина, а тетя Калерия давала ей руководящие указания. Утюжка эта именовалась «отпариванием», целью ее было уничтожить блеск, пузыри на коленях и создать складку на том месте, где положено. До войны имел место печальный случай, когда наша тетя Ина старательно выгладила чьи-то штаны, получив прекрасные складки по бокам, и тетя Калерия это помнила и, когда дело доходило до утюга, задумчиво спрашивала: «Акуля, что шьешь не оттуля?» И еще она ни с того ни с сего говорила, что вот бы забавно посмотреть, как ОН тогда явился домой в таком виде,— а, Георгина? Кто был этот загадочный ОН, я не знаю и, сказать по правде, никогда особенно не интересовался.

А в то утро двадцатого мая я бежал в школу в правильно отпаренных брюках и гремящей накрахмаленной рубашке — воротник ее натирал мне шею. Я торопился на экзамен по русскому письменному за шестой класс. Экзамена я не боялся, настроение было

прекрасное, поэтому я и бежал по нашему переулку, как кенгуру. И как раз на этом самом месте оступился и полетел в лужу.

Когда я встал из нее, грязная вода стекала по моим отпаренным штанам, на крахмальной груди, как у голубя, расплывались радужные мазутные пятна, локти были черные. Я стоял не шевелясь и медленно заполнялся безнадежностью, когда вдруг услышал ГОЛОС.

— Так можно и упасть, — чванливо сказал старик.

Он смотрел на меня с осуждением, этот важный, толстый старик в сверкающем пенсне. Одет он был, помнится, в то майское утро так: в зимнее пальто, каракулевую шапку пирожком и белые фетровые бурки. Он держал на поводке маленькую, старую, толстую и тоже какую-то зимнюю собачку, и эта собачонка смотрела на меня с негодованием...

...Сегодняшняя лужа, правнучка той, все же другая. Она образовалась из тающего, растоптанного снега, под ней затаился лед, здесь в самом деле можно упасть, даже если не мчишься как ненормальный, задрав башку в небеса.

Я не мчусь. Я осторожно ступаю, выбирая относительно сухие и шершавые места. На мне зимняя куртка и каракулевая шапка. Правда, не пирожок, а обыкновенная ушанка.

Вечер. Я возвращаюсь домой. Был здесь неподалеку, читал лекцию от общества «Знание» и решил пройтись по своим «детским местам». Это звучит довольно бестолково — «детские места», но уж лучше так, чем «места моего детства». «Места моего детства» похожи на «дни нашей любви» или того хуже — на

«путевку в жизнь». От этих наборов меня тошнит, в том числе и потому, что ими меня в детстве, как теперь говорят, «доставала» моя тетя Калерия. «Алексей, — говорила она с вдохновением, — ты должен учиться на «хорошо» и «отлично», только тогда ты сможешь крепко стать на ноги и получить путевку в жизнь».

Тетя Калерия была в нашей семье идеологом и руководителем, тетя Ина (Георгина) — рядовым исполнителем. Я был надеждой, которая, впрочем, вполне может и не сбыться, если не прилагать постоянных и самоотверженных усилий.

— Ты пойми, Георгина, — слышал я, лежа в постели (считалось, что я уже сплю, ибо детям до шестнадцати лет в десять часов положено спать). — Ты пойми, на нас — двойная ответственность, мальчик растет без родителей, а ты всегда упускаешь из виду, что главное — это воспитание души, а не удовлетворение материальных, то есть животных, потребностей. Не забудь, что в здоровом теле — здоровый дух!

Дальше шло очень хитрое логическое построение, согласно которому как-то выходило, что для здоровья тела нужно немедленно записать меня в литературный, драматический и исторический кружки, а главное, приобрести билеты в Театр оперы и балета имени Кирова. В дальнейшей борьбе от кружков я всегда отбивался, а на оперу и балет не было денег, все они уходили как раз на «удовлетворение материальных, то есть животных, потребностей», за которые отвечала тетя Ина. Она покупала продукты, варила обед, стирала и чинила одежду. Работала тетя Ина на заводе, контролером ОТК. Тетя Калерия выдавала книги в нашей районной библиотеке.

Я не был сиротой. Просто меня воспитывали тетки. Они обе никогда не были замужем, а мои мать с отцом разошлись и разъехались, когда мне было два года. Тогда модно было разъезжаться кто куда: «На Север поедет один из вас, на Дальний Восток другой...» Мать и поехала на Дальний Восток, а куда отец, не знаю. И на мои вопросы никто никогда мне не ответил. Меня мама хотела взять с собой, но на смерть встали тетки: «Сперва устройся, обживись, тогда и бери ребенка». Через полгода мать снова вышла замуж, но меня опять не отдали: «Сперва убедись, что встретила настоящего человека, который способен воспитать мальчика. Откуда ты знаешь, что твой Павел — не мистер Мордстон из «Дэвида Копперфилда»?»

Стоит ли говорить, что этот аргумент принадлежал образованной тете Калерии?

Видимо, мать убедилась в том, что ее избранник — не «настоящий человек, который способен» и т. д., — они расстались. В сороковом году, когда мне было пять лет, мать перебралась на Урал, на какую-то другую стройку. По дороге она заезжала к нам, и тут меня не отдали в третий (и последний) раз. Разговор, во время которого навсегда решила моя судьба, я отлично помню. Воскресным утром я лежал на своем диванчике по имени «оттоманка» (помните эти узкие диванчики, всегда зачем-то в парусиновых чехлах? Там еще были валики, а вместо спинки — три подушки, по бокам пониже, а средняя — повыше). Я лежал и, не помню из каких соображений, притворялся, что сплю. А обе тетки и мать сидели вокруг стола и пили чай. Это меня возмутило! Не потому,

что они не дождалась меня, нет, — в воскресенье, когда не нужно рано вставать и брести в детский сад, я обычно завтракал после всех. Но они пили чай с м о и м и конфетами! И безобразно, как хулиганы, сминали фантики!

В то время в Ленинграде вдруг появились в огромном количестве латвийские и эстонские конфеты в сказочно прекрасных обертках, и весь наш двор собирал фантики. Но мне казалось интереснее копить их вместе с конфетами. Конфет я и так ел достаточно: тетя Ина, ведавшая здоровым телом, тайно верила, что от шоколада дети особенно быстро растут и крепнут. Но я плебейски любил только ириски и красных, негигиеничных петухов на палочке, а шоколадные конфеты в красивых бумажках аккуратно складывал в специальную коробку из-под шоколадного набора. Я хорошо ее помню, славную эту шестиугольную коробку. На ее крышке были изображены два серых котенка с голубыми бантами. И вот, едва открыв в то утро глаза, я увидел свою коробку на столе. Мать как раз вынула из нее красно-золотую конфету. Тетя Калерия в это время кончила длинную фразу, начало которой я проспал, а конец был такой:

— Повторяю в третий раз, Маруся, ребенка я тебе не отдам. Категорически! Ты еще не перебесилась.

— Ты не расстраивайся, как только перебесишься, сразу же отдадим, — жалостливо глядя на мать, вставила тетя Ина. Слово «перебесишься» она произнесла с уважением, будто это — важное задание, которое мать должна выполнить во что бы то ни стало.

— Как хотите, — тихо сказала мать, комкая конфетную бумажку.

И тут с громким криком — «Не надо! Не надо!» — я рванулся с дивана, упал, ударился о ножку стола и громко заревел.

Почему-то мои тетки любили вспоминать этот случай. Как они кинулись ко мне, подняли, стали утешать: «Не плачь, сейчас с мамой нельзя, но будущим летом мы все обязательно к ней поедem, вот увидишь, поедem, не плачь, маленький!» А я никого не слушал, тянулся к столу, а, дотянувшись, схватил коробку и принялся собирать, распрямлять и складывать туда свои фантики.

Мать расплакалась: «Он отвык, он меня не любит! Ему конфеты дороже», — а потом вдруг вытерла глаза и засмеялась: «А может, это к лучшему? Какая я мать, горе одно!»

Мать, наверное, так никогда и не «перебесилась», вот я и вырос у теток, в этом длинном переулке, который начинается нашей школой, а упирается в вокзал.

Сегодня, еще с утра, я решил сразу после лекции пройти по переулку из конца в конец. И заглянуть к нам во двор, где я не был... страшно произнести, лет, наверное, двадцать. С тех пор, как нет на свете теток. А если приходилось бывать поблизости, старался обогнуть, обойти стороной. Почему? Не знаю. Так же как не знаю, почему именно сегодня утром стало ясно: пойду. Но не идетя что-то, вот, застыл возле лужи и раздумываю о том и о сем. Видимо, это уже старость — такая ностальгия. Кстати, в луже плавает конфетная бумажка. Она некрасивая, серая какая-то, как и все они сегодня, в моем детстве на такую никто бы и не посмотрел! И названия теперь другие. Раньше, помню, — «Лакомка», шоколад «Мокко». Сразу хоте-

лось съесть, несмотря на то даже, что — шоколад. А сейчас? Конфеты «Зоологические»! Страшное дело. Какую ассоциацию это вызывает? Что-то про бегемотник, слоновник, террариум.

На моих довоенных фантиках были непонятные, заграничные надписи. В тот день я сидел-сидел у матери на коленях, да вдруг и подарил ей всю коробку с котятами, но мать взяла из нее только две конфеты: «на дорожку».

Следующий раз мы с нею увиделись уже после войны, когда мы вернулись в сорок шестом из Челябинска, куда был эвакуирован тети Инин завод. Мать, как всегда, навестила нас проездом, всего на неделю. Она ехала из Германии в Красноярск.

Вот тогда мне моя мать очень понравилась. Со всем не похожая на теток, которых я всю жизнь считал старухами, она была молодая, веселая и стройная, в новенькой гимнастерке, перетянутой офицерским ремнем. Мать командовала на фронте взводом связисток, имела звание лейтенанта и кучу наград: орден Красной Звезды и множество медалей — «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».

Мы все гордились. Я слышал, как тетя Ина застенчиво просила мать выходить на кухню в военной форме:

— Понимаешь, в халате — не то впечатление. Что такое халат? Понимаешь, Маруся?

Но и в атласном длинном, до полу, халате с невиданными оранжевыми птицами мать тоже была красивая. Еще красивее.

Она заводила патефон. «Уходит вечер, вдали закат погас, и облака, клубясь, бегут на запад...» — пела пластинка вкрадчивым, сладким голосом, а мать медленно кружилась по комнате, обходя стол, и синие ее глаза смотрели куда-то далеко, поверх моей головы, наверное, на закат, и на губах появлялась такая улыбка, как будто она что-то знает, какой-то секрет, больше никому не доступный. Входила тетка Георгина и застывала в дверях с тяжелой продуктовой сумкой в руках. Выражение лица ее становилось молитвенным, глаза влажнели. Я видел: любит. И мне радостно было, что она любит моей мамой.

...Я слушал пластинку и вспоминал последнее предвоенное лето, дачу в Сестрорецке, теплый вечер, воздух, сладкий, как голос этого певца, потому что цветут душистый табак и шиповник, над заливом взлетают и падают желтые и красные ракеты, на соседнем участке крутят патефон, а вдали тоже музыка — главная, духовой оркестр.

«Курзал», — с придыханием говорят взрослые и смотрят в ту сторону, где музыка. — «Курзал. Вы пойдете в Курзал?..» «Курзал» для меня — это теплый летний вечер, запахи цветов и прекрасная уверенность, что все впереди празднично, надежно и вечно... И мама скоро «перебесится», и ей отдадут ребенка...

Мы с тетками проводили мать на вокзал. Шли пешком, и я нес чемодан. У вагона мать, перецеловавшись с сестрами, крепко обняла меня и спросила, люблю ли я ее. И я сказал, что конечно. В самом деле: кого же и любить, если не такую красивую и

храбрую мать, прошедшую с боями от Москвы до Берлина!

Мать нам писала. Сообщала о всех серьезных событиях своей жизни: устроилась на работу, на телефонную станцию; получила хорошую комнату в общежитии, а сперва приходилось снимать, и это было очень тяжело — вечные недоразумения с хозяйками. Может быть, скоро семейное положение изменится, правда... этот человек еще не оформил развод, но...

Тетки следили, чтобы я регулярно отвечал матери (сами они, надо или не надо, писали ей каждую неделю). Я усаживался за обеденный стол, где обычно делал уроки, и на вырванном из середины тетради двойном листке аккуратно выводил: «Дорогая мама! Письмо от тебя получили, спасибо. Как ты поживаешь? Я живу хорошо. По русскому письменному у меня пятерка, по устному тоже, а по арифметике пока три...» Кончал письмо я всегда фразой: «Пиши нам чаще, подробнее и обо всем». Такую фразу я видел как-то в письме тетки Калерии, и она мне показалась очень убедительной и достойной.

«Этот человек» так и не сумел оформить развод, и мама уехала в Иркутск. Тетки ее одобрили: «Надо было давно с ним порвать. Сколько можно крутить женщине голову? Пусть поймет, что потерял, а Маруся с ее внешними данными...»

В конце концов мать вышла замуж за какого-то начальника со своей работы, он был вдовцом, и тетки радовались, что мать не разбила чужую семью. Все вместе это называлось: «Мария встретила человека».

Звали его смешно: Мартын Петрович. Он был старше матери лет на двенадцать. После их женитьбы письма стали приходиться редко.

...Я иду дальше, к площади. Нашу школу я уже видел, прошел и дом, где жил мой друг Толик Зайцев. Тетки его терпеть не могли, особенно тетя Ина, утверждавшая, что Толик «как дурной кот — шарит без спросу по кастрюлям, а ещё таскает из буфета печенье, ест повидло прямо из банки — и все исподтишка. Попросил бы, неужели отказали бы!» Тетя Калерия осуждать за кастрюли считала неприличным, поэтому возражала, что дело не в этом, просто Толя — плохой товарищ. Во-первых, он скверно учится, это уже говорит само за себя, а во-вторых, когда в пятом классе все вместе выбили в классе стекло, он спрятался за спину Алексея. «Взять вину на себя — это благородно, Алеша, тебя я одобряю, но он! Промолчать, когда ругают другого? Нет, это не друг, это враг». Тетя Ина при напоминании о стекле только вздыхала: платить за него пришлось из денег, отложенных «на питание».

От дома, где жил Толик со своей матерью Зинаидой Романовной (ее тетки считали аферисткой: «Раз в жизни пришла, сразу взяла в долг пятьдесят рублей, и только ее и видели. Яблочко от яблоньки...»), так вот от их дома всего квартал до площади. Я выхожу к троллейбусной остановке. Сесть сейчас на восьмерку — и домой, скоро «час пик», тогда не протолкнешься. Но надо пройти наш переулок до конца.

Рядом с остановкой огромная очередь к ларьку «Овощи — фрукты». Просто чудовищная очередь, часа так на полтора, не меньше. Продают бананы, пустые картонные коробки с заграничными наклейками громоздятся на тротуаре рядом с ларьком. Очередь не галдит, не суетится, в ней стоят солидно, спокойно, с

чувством собственного достоинства — бананов хватит на всех, вон и полные коробки, их много. Стоят в основном молодые, лет по тридцать, модные, полные самоуважения люди. Много мужчин. Некоторые читают газеты, журналы, книги. Дисциплинированная очередь. В наше время таких здесь не было. Они не время теряют, а дело делают, серьезное, важное дело: стоят за бананами. Бананы хотят купить. И принести их домой для супруги и ребенка. Это — вроде охоты на мамонта, добыл и принес. И на это не жалко времени, целых полутора часов жизни не жалко. Вот так: бананы дороже жизни... Молодые мужики, не шадя собственной жизни, стоят, чтобы, подойдя наконец к прилавку, степенно взять пять килограммов этих несчастных бананов, аккуратно уложить их в портфель «дипломат» и сумку из «Березки» и переть к себе домой.

Моя жена сейчас бы мне возразила: возмущаться надо не тем, что эти парни убивают жизнь на бананы, а тем, что существуют такие очереди. Она, как обычно, была бы права. И все же...

Площадь я перехожу наискосок, нагло нарушая правила уличного движения, как нарушал их всю мою школьную жизнь. За площадью наш переулок продолжается.

...И чего я, собственно, взъелся? Не видел никогда, что ли, таких очередей? Сколько угодно видел, и за кроссовками, и за «кубиками-рубиками» или, скажем, за японскими трусами, без которых, видно, тоже никак невозможно. Видел я все это и спокойно проходил себе мимо, чего же здесь-то окрысился? Ну, стоят, здоровые, модные, а сам? Сам тоже, заметьте,

в финской куртке, в английских (жена «выстояла» в Гостином дворе) ботинках. И с «дипломатом». Раскудахтался, как рамолик: «В наше время! В наше время! В наше время было не так». А кто поклянется, что все, что было в «наше время», — лучше?

Но ведь в «наше время», то есть когда я ходил по этому переулку в школу, очень многое, в самом деле, было иным. И мое раздражение объясняется тем, что я увидел эту очередь именно ЗДЕСЬ. Я пожаловал сюда через двадцать лет, как в заповедник, где кто-то обязан был хранить нетронутым мое детство...

Это и вправду было «мое» время, оно принадлежало мне всем своим битком набитым событиями настоящим, бесконечным будущим и безмятежным прошлым, где над курзалом взвиваются в небо ракеты, где «уходит вечер, вдали закат погас...». А очереди... Очереди тогда, конечно, были совсем другие, слава Богу, что теперь таких нет в Ленинграде. То были растрепанные, нервные, горластые очереди, все время — на грани скандала. Да они и вспыхивали то и дело, скандалы, то у самого прилавка: «Куда прешь? Не пушу! Не пустим!! Паразит! Граждане, он без очереди!!» — то в середине: «Мало ли что «занимала», нечего было два часа разгуливать, другие стоят, не шлятся, а она проболталась, а теперь «занима-а-ла». Не помню я вас, вставайте в конец!» И в самом хвосте: «Больше кило в одни руки не давать!!» Едва затлев, эти скандалы мгновенно вспыхивали и, завиваясь в тугие жгуты, взмывали к визгу, ругани, оскорблениям и угрозам. Нередко все кончалось дракой и

милицейскими свистками. Боевая готовность к скандалу все время подогревалась страхом: «кончится и завтра не будет».

Иногда и мне приходилось стоять в таких очередях, тетя Ина брала меня с собой на случай «в одни руки не больше...», однако, честно говоря, я не помню случая, чтобы выстоял очередь до конца. Я начинал томиться, нить, и тетке делалось меня жалко: «Иди, Алеша, ты озяб, весь магазин все равно не купишь». Тетя Калерия за покупками не ходила, после эвакуации у нее стали болеть и опухали ноги, она с трудом добиралась до дому после рабочего дня. Бывало, что с тетей Иной увязывалась Вера Запугина, соседка, ее комната была как раз напротив нашей и окнами на задний двор. То есть это, наверное, только я считал, будто «увязывается», тетя Ина к Запугиной относилась хорошо.

А вот я плохо. Настолько плохо, что за глаза называл ее не иначе как Запукина, и это всегда смешило теток, но они изо всех сил скрывали, что им смешно. Наоборот: кусая губы и педагогически хмурая светлые брови, тетя Калерия восклицала:

— Бессовестный! Чтоб я не слышала!

— Балдес! — с восторгом в голосе ругалась тетя Ина (она всегда говорила «балдес» вместо «балбес»).

Запукина появилась у нас в квартире летом сорок седьмого, кажется, года. Я вернулся из пионерлагеря и в первый же день увидел, что дверь напротив нашей стоит настежь. Из глубины комнаты на меня надвигался чей-то зад, кругло обтянутый неприлично короткой голубой в горошек юбкой. Женщин в этой комнате я не видел сроду, пол здесь тоже никог-

да не мыли и мыть не могли. От неожиданности я произнес что-то, женщина крикнула «Ой!», бросила тряпку, выпрямилась и повернулась ко мне. Она была широкоплечая и коротенькая с желтыми, как солома, курчавыми волосами. Я увидел круглые испуганные глаза какого-то серо-мучнистого цвета, толстые красные щеки, круглый нос «картошкой» и приоткрытый рот.

— Здравствуйте, вам кого? — спросила она, одергивая юбку.

— Никого, — ответил я, возмущенный. Что значит «кого»? Я у себя дома, а вот что она делает в нашей квартире, неясно.

— Где Николай Акимович? — я строго нахмурил лоб.

— Не знаю, — она виновато моргала короткими прямыми ресницами.

Николаем Акимовичем водопроводчика Болотина я не называл никогда, назвал сейчас назло этой тетке, хозяйничающей в его комнате и задающей людям глупые вопросы. К Болотину у нас обращались исключительно по имени: «Коля, посмотрите, у меня керосинка опять коптит», «Коля, в коридоре сломался выключатель» и т. д. Болотин у нас в квартире был единственным мужчиной «с руками» (я-то считался безруким, что сулило мне в будущей самостоятельной жизни массу неприятностей). И Коля чинил выключатели и замки, чистил печки, делал «жучков», когда перегорали пробки, ну и, конечно, менял прокладки в водопроводном кране, что было уже работой по специальности. К нему в мастерскую тетя Ина посылала меня за срочно понадобившимся

гвоздем или плоскогубцами, — мелкую работу она делала сама.

Николай был худой, высокий, сутуловатый, лицо имел длинное и с впалыми щеками, большим крючковатым носом и торчащим, как у бабы Яги, подбородком. Маленькие узкие глаза остро смотрели из-под косматых нависающих бровей, как из-под козырька. Это если Болотин был «подшофе», как изысканно выражалась тетя Калерия (тетя Ина то же состояние называла «под мухой»). В таких случаях глаза Болотина поблескивали, на губах то и дело сверкала улыбка, очень, надо сказать, красивая из-за удивительно белых, ровных зубов. Тетки не раз удивлялись, как это Коля, не выпускающий изо рта папиросы, а курил он исключительно «Норд», как он не «прокурил» свои замечательные зубы. И вообще, как они на войне уцелели.

В пьяном виде Болотин очень мне нравился. Он выходил с газетой на кухню, когда там собиралось все население — мои тетки и старуха-соседка Анна Ефимовна, брал табуретку, водружал ее на середину и начинал обстоятельный разговор о политике. Интересовало Болотина исключительно международное положение, он с жаром рассуждал об освобождении колоний и плане Маршалла, а отрывки из газетных статей, где говорилось о событиях, особенно его возмущивших, читал вслух.

— Вот ты мне скажи! — кричал он, обращаясь почему-то всегда к Анне Ефимовне. — Только уж правду, слушай! Вот кинули они свою бомбу на Японию, и будь любезен. Ну, а на немца почему не кидали? Вот ты скажи: почему?

Анна Ефимовна резко поворачивалась и сверкала на Болотина своими живыми темными глазами.

— Почему? Как это почему, что значит? — поражалась она. — У них не было бомбы, хотите знать! Между прочим, еще не изобрели, вот и не кинули. Была бы, так уж кинули бы, можете не сомневаться!

— Х-ха. Ну уж эт-хрен, — Болотин хлопал своей большой ладонью по колену. — Бросили, потому что в Японии — им-пе-ра-тор. Ясно? Вот так.

— Что значит — император? При чем здесь? Это мне нравится! — тотчас вскипала Анна Ефимовна. — И как так можно рассуждать? Бомба — это трагедия, так почему из-за какого-то там императора должен погибнуть народ?!

В дискуссии Анна Ефимовна забывала про свои котлеты, которые тем временем начинали гореть. Но она даже не смотрела на сковородку. Приподняв левую бровь, она бросала красноречивые взгляды на интеллигентного человека — тетю Калерию, и та в ответ выразительно кивала: о чем тут говорить? Спорить с глупым пьяницей никакого смысла. И себе дороже.

Болотин в ответ принимался пугать Анну Ефимовну:

— А вот упадет еще бомба, и всю землю заморозит. И будь любезен! — заявлял он, вставая с табуретки.

— Болтает! Сам не знает, что болтает! — Анна Ефимовна взмахивала худыми руками. А от ее сковородки, между тем, уже шел дым. Болотин, хмыкнув, удалялся к себе, пробурчав в дверях угрожающим тоном: «Пили-ели, все нормально, обругали всех бук-

важно!» Только тут тетя Ина робко обращала внимание Анны Ефимовны на догорающие котлеты. Та опять стремительно махала рукой:

— А-а, пускай! Мы так любим!.. Это уже надо придумать, «заморозит», — горячилась она, глядя вовсе не на сковородку, а на тетю Калерию. — Какая безграмотность, просто я себе не представляю!

Тетя Калерия категорически соглашалась, она уважала Анну Ефимовну; ее в нашем доме уважали все — за опыт (все-таки семьдесят лет есть семьдесят лет) и за медицинские знания. До недавнего времени Анна Ефимовна работала врачом в нашей поликлинике, к ней и сейчас чуть что бегали советоваться.

Чтобы показать, что им наплевать на глупости Болотина, они с теткой сразу после его ухода заводили умный разговор. В отличие от международника-Коли Анна Ефимовна была крупным специалистом в области внутренней политики, ей всегда было известно, какая отрасль на сколько процентов перевыполнила план и когда восстановили какую ГЭС, что она и доводила до всеобщего сведения. Выслушав ее, тетя Калерия многократно кивала и тотчас комментировала, особо упирая на то, что таких успехов могут достигнуть только люди, безупречные в нравственном отношении. Она информировала слушателей, что труд создает личность, честь надо беречь смолоду, настоящая любовь — это любовь к труду, в котором, безусловно, настоящее человеческое счастье. А тот, кто этого не понимает, тот не живет, а существует. «И вы на земле проживете, как черви слепые живут, ни сказок о вас не расскажут, ни песен про вас не споют», — грозно декламировала тетя Калерия явно

в расчете на меня, — а я, недостойный, получивший накануне двойку, поднимался и шел вслед за Болотиным, в его комнату, где и было мне место.

Мы садились на койку и играли в шахматы, да что там играли — Болотин меня учил. Сам он играл блестяще. Тогда мне трудно было об этом судить, но все в нашем доме утверждали: если бы Коля не спился, то стал бы вторым Ботвинником. Недаром он однажды три раза подряд обыграл самого Евгения Давыдовича из пятого номера, а Евгений Давыдович, чтоб вы знали, первокатегорник или даже мастер.

— Сделал как пацана, эт-верно. Эт-правильно, — сказал Болотин, когда я спросил его об этом замечательном эпизоде. — Три — ноль. Сухая, понял? И будь любезен!

В трезвом виде Болотин в шахматы не играл. И не разговаривал. Лежал целыми днями на кровати одетый, в ботинках, и тускло глядел в потолок. Глядеть было не на что, потолок в его комнате производил жуткое впечатление — закопченный, весь в трещинах, по углам паутина. Стены, впрочем, выглядели не лучше: довоенные обои полопались, кое-где свисали унылыми клочьями, а где и вообще были сорваны. Это была какая-то бракованная комната, длинная и узкая, точно коридор. И темная — немытое окно выходило на задний двор. Внизу располагались дровяные сараи и помойка — бетонная, с тяжелой крышкой, закрывающейся при помощи противовеса. Удары этой крышки постоянно слышались в комнате Болотина. Из мебели там имелись только стол, табуретка и железная койка, заваленная каким-то тряпьем. Она стояла слева от двери, стол — впритык к

окну, так что подойти к окну, чтобы проветрить комнату, было невозможно. Но Болотин к этому и не стремился. Вдоль правой стены, совершенно пустой и голой, на аккуратно вбитых гвоздях висела одежда Болотина, весь его гардероб: матросская шинель, дражный ватник и темно-синий бостоновый костюм. Тетки удивлялись, почему он это все до сих пор не пропил. Станный человек, ненормальный какой-то.

И вот он лежал в своей затхлой прокуренной комнате, мрачный и неприступный, и, если я осмеливался заглянуть — спросить, как дела, угрюмо отвечал:

— Дела — сажа бела. Денег нет, а выпить надо.

Но займы ни у кого никогда не брал, во всяком случае у нас в квартире.

— Ну, что там Коля? — спрашивали тетки, когда я возвращался к себе. — Лежит?

— Лежит.

Тетя Ина наливала в тарелку шей и протягивала мне:

— Отнеси.

— Только будь, Бога ради, деликатен, — напутствовала тетя Калерия.

Я стучался к Болотину, ответа не получал, входил и садился ему в ноги. Тарелку я ставил себе на колени. Некоторое время мы оба молчали, потом я начал:

— Вот тут... от тети Ины... она просила...

В любую минуту Болотин мог вскочить и в бешенстве заорать, что пошли бы вы все... такую-растакую... жить человеку не даете и помереть мешаєте... к такой-растакой... Но если этого не случилось,

если Болотин продолжал глядеть в потолок, я повторял, что тетя Ина очень просила не отказываться...

Методом проб и ошибок было установлено: надо обязательно подчеркнуть, что суп прислала именно тетя Ина. Трезвый Болотин признавал только ее, а тетю Калерию с Анной Ефимовной презирал. Тетю Калерию он называл почему-то «фик-фок на один бок», а Анну Ефимовну подозревал в сквалыжности. Эт-точно.

— Тут встречаю, слушай, идет бабка из гальяона с пузырьком — мочу собрала на анализ. Пузырек с наперсток. Спрашиваю: «Слушай, а чего так мало?» Она мне: «А нечего их баловать!» Вот так. Баловать, говорит, нечего их, и будь любезен.

Теперь я думаю, что историю с пузырьком Болотин тогда выдумал от начала до конца, он ведь и не то еще мог сочинить, например, будто бы в зоопарк из Германии доставили женщину-зверь, двух метров росту — вся белая, а грива, слушай, черная. И говорит по-немецки: «гутен таг», «битте» и «хенде хох». Тетки возмущенно отмахивались: «Белая горячка», а потом я узнал, что они тайком от меня ездили в зоопарк, искали там эту чудищу.

Вот какой прекрасный человек был Николай Болотин, моряк Балтийского флота, мой друг. А тут вместо него в комнате распоряжается эта белобрысая!

...Николая мы не видели больше никогда. Тетки сказали, что он куда-то переехал, нашел себе работу в другом жакте, и там ему дали комнату. Спорить с ними я не стал, хотя ребята во дворе уже успели сообщить: Болотина забрали, «черный ворон» приезжал.

За что забрали? А кто его знает! Может, чего свистнул, но вряд ли, не похоже... Трепался он много, анекдоты травил...

Когда жена спрашивает меня, боялись ли в те годы мои тетки, боялся ли я сам, я искренне отвечаю — нет. То есть за теток ручаться, конечно, не могу, но кажется мне, что считали они себя такими уж мелкими сошками, до которых серьезным Органам просто нет дела. Ну а чтобы болтать опасные глупости — это никому из них и в голову бы не пришло.

А я?.. Я прекрасно знал, например, что Виталька Дунаев из нашего класса живет вдвоем с бабкой и родителей не помнит, потому что их посадили задолго до войны. Почему посадили, не знает — был маленький, а вот у Федорова отец сидит за растрату.

В семейном альбоме у теток некоторое время хранилась дореволюционная фотография, снимались под Москвой, на даче у каких-то дальних родственников, тетя Калерия с длинной косой, переброшенной на грудь, держит на руках мою трехлетнюю мать, рядом тетя Ина в огромной соломенной шляпе, а по бокам и сзади целая куча незнакомых людей, никогда никого из них я потом не встречал и ничего о них не слышал. Так вот среди них стоял кто-то высокий, широкоплечий, в вышитой рубашке. На месте его головы зияла аккуратная четырехугольная дырка. На мой вопрос, кто этот «всадник без головы», тетя Калерия, помнится, помешкав, ответила: «Владик, сын... тети Жени. Они нам почти и не родня, так — десятая вода...» И добавила, что Владик был студентом, а потом комсомольским вожаком. А потом его посадили... Не знаю. Нет, не за растрату.

Никаких вопросов и недоумений у меня, как сейчас помню, не возникло. Интерес к безголовому Владу — тоже. А то, что мои тетки, пожалев выкинуть всех родственников, ограничились тем, что с помощью ножниц обезвредили их в целом невиновный коллектив, было, с моей точки зрения, вполне естественно, всегда так делают — видал я старые учебники истории с замазанными чернилами портретами врагов народа. Все это было тогда буднями, частью нашей жизни — мы родились, а он уже существовал... Бояться? Нет! Мне-то чего бояться или хотя бы теткам с матерью? Мы же не какие-нибудь доисторические троцкисты-зиновьевцы, в оккупации не были и с фашистами в силу этого не сотрудничали. Лично меня эти проблемы не волновали, а печально-го в жизни хватало без того — не у одного Дунаева не было родителей, чуть не полкласса потеряли отцов на фронте, у многих родные умерли в блокаду. А страшное... Убийцы каждую неделю нападали по пустырям на одиноких женщин и душили их удавкой. Потом, когда выяснилось, что бандит по фамилии Гыбин задержан и всех жертв убил он один, стало почему-то еще страшней — тетки боялись выходить по вечерам из дома. А ужасные истории про людоедов? Анна Ефимовна рассказывала — в блокаду воровали детей и делали из них начинку для пирожков. Вот купит человек за громадные деньги на рынке пирог, откусит — а там детский пальчик. И — что вы думаете? — их сейчас нет среди нас? Да сколько угодно! Вон хоть Донцовы из седьмого номера — как они жили в блокаду? Это что-нибудь особенное. А за счет чего, я знаю?

Это был ужас. А какие-то неизвестные заключен-

ные, сидящие не иначе, как за дело... нет, к нашей жизни это не имело отношения. Вот Болотин... Его мне было очень жалко. До слез. Как если бы я узнал, что он попал под трамвай и его зарезало насмерть.

При Запукиной болотинская берлога преобразилась. Стекла в окне сверкали даже сквозь тюлевую занавеску, на стенах цвели оранжевыми розами новые обои, потолок был выбелен, вместо пыльной лампочки, одиноко висящей на грязном шнуре, появился шелковый абажур. Кроме того, Запукина ухитрилась как-то разместить в комнате пухлую кровать с никелированными шарами, столик, шкаф, три венских стула и комод, сплошь уставленный безделушками. Были там, конечно же, фарфоровые слоны, были собачки, был глиняный кот-копилка. Над кроватью, как положено, висел коврик с лебедями, красоты необыкновенной, а на горе подушек, укрытых тюлевой накидкой, лежала, раскинув розовые руки, мордастая кукла с закрывающимися глазами. Лицом она как две капли воды была похожа на Запукину. Зачем кукла понадобилась взрослой тете? Лично я считал это последним свидетельством умственной отсталости Запукиной.

Но особенно отчетливо я невзлюбил ее, когда зимой она выпросила у теток наш патефон с пластинками. Сказала — «на денек», а сама все не отдавала и не отдавала. Каждый вечер из ее комнаты доносилось «Утомленное солнце», «Рио-Рита», мамино любимое «Уходит вечер, вдали закат погас...». Как-то, проходя мимо, я заглянул в приоткрытую дверь и увидел, что Запукина, замерев, сидит за столом, на

котором играет патефон. Уставилась перед собой, даже рот разинула.

В тот же вечер я решительно сказал теткам, что патефон надо забрать, Запукиной он совершенно не нужен — под музыку все люди танцуют, а не сидят, как статуи, со стеклянными зенками. За статую меня строго предупредили, за зенки, конечно, объявили выговор, но патефон скоро вернулся.

Лучше бы не возвращался — теперь Запукина повадилась к нам. Она приходила каждый вечер, как раз в то время, когда я делал уроки, садилась у стола и начинала заунывный, тягучий, никому в мире не интересный рассказ про то, как «ОН посмотрел, я отвернулась, ОН сказал, я сказала, я позвонила, ОН: «Я вас слушаю», я говорю: «Это Вера», а ОН: «Какая Вера?», я говорю: «Запугина», а ОН: «Понял», я сказала, чтоб ОН мне позвонил, а ОН не позвонил...»

Разложив на обеденном столе, на клеенке, тетради и учебники, поставив чернильницу («Алеша, подстели газету, прольешь, сколько можно?»), я писал сочинение на свободную тему: «Все работы хороши, выбирай на вкус», за окнами, покрытыми морозными цветами, темнел наш двор, где я сегодня вмазал-таки по уху этой лошади-Бородулиной, в углу комнаты, в круглой печке, уютно трещали дрова. Тетки сидели рядом на оттоманке, тетя Ина вязала мне носок, а тетя Калерия время от времени напоминала ей, что надо пойти помешать кочергой в печке, а то до ночи не прогорит. Запукина, ни на кого не обращающая внимания, все вела свою нудь: «Я позвонила, ОН сказал, а сам не звонит, я спросила, ОН не сказал, я позвонила, подошла ОНА, я повесила...»

Иногда тетя Калерия произносила что-нибудь исключительное, вроде: «Девушка должна быть гордой, нельзя, чтобы ОН догадался, что нужен вам больше, чем вы — ему...» Запукина ей послушно кивала, но, по-моему, она вообще ничего не слушала, не видела и не понимала, в белесых, круглых ее глазах навсегда застыло одно-единственное выражение — тоскливого ожидания. Впрочем, на один звук она реагировала безотказно: на телефонный звонок. Стоило ему раздаться, как она мгновенно срывалась с места и кидалась к дверям. Из коридора слышался топот и истошное «Алё! Алё!!» Потом она возвращалась по-нурая и говорила, что к телефону позвали, конечно же, Анну Ефимовну и теперь она будет три часа разводить свои глупости. Анна Ефимовна действительно разговаривала подолгу, но это были вовсе не глупости, а медицинские консультации, которые она давала своей дочери, или взрослой внучке, или знакомым. Каркающим голосом Анна Ефимовна по слогам (для невежд) произносила названия лекарств и объясняла, как их принимать.

— Стрептоцид белый, — диктовала она, — по одной таблетке три раза в день перед едой. Обильно запивать... Водой, водой! Это мне нравится. Она еще хохмы... А на ночь — теплое молоко с содой... Невкусно? Что значит? Я уже не понимаю, что тебе важнее — удовольствие или все-таки здоровье?

Бывало, что Анна Ефимовна вот так, заочно, лечила заболевшую собаку или кота:

— Главное же — своевременное питание. И ритм. Ритм. В питании это все. Для животного, я вам скажу, это имеет не меньшее значение, чем для людей...

Пока Анна Ефимовна разговаривала, Запукина успевала вся известись. То и дело она вскакивала, подходила к двери и выглядывала в коридор, крутила свои толстые пальцы с широкими ногтями, вымазанными багровым лаком, приглаживала волосы, от чего они назло ей становились дыбом. Кстати, волосы Запукина постоянно перекрашивала в новый цвет. То она была ослепительной блондинкой, то появлялась огненно-рыжая, то какая-то фиолетовая, то черная, как цыганка, но больше всего я помню ее все-таки с волосами цвета соломы, темными у корней. И вот, взе-рошив волосы, Запукина металась по нашей комнате и причитала:

— Ну что же это, Господи, ну как же так можно? Я не знаю... — И наконец, со слезами в голосе выкрикнув, что Анне Ефимовне животные дороже человека, бросалась к двери и выбегала вон. Дверь хлопала.

— Чего она? Ненормальная, да? — спросил я у теток, когда Запукина таким образом покинула нас впервые.

Тетя Калерия сказала только, что называть Веру ненормальной — несправедливо и грубо, а тетя Ина жалостливо пояснила, что Вера беспокоится: Анна Ефимовна долго занимает телефон, а ей могут как раз в это время позвонить.

— Но ей же никогда никто не звонит, — удивился я.

Тетки промолчали.

Однажды Запукина вошла, торжественная, и молча положила перед тетей Иной и тетей Калерией фотографию невзрачного пожилого мужчины. Повидимому, это и был ОН, которому она все звонила,

а он не звонил. Под фотографией имелась надпись тушью: «СТОГОВ МИХАИЛ ТЕРЕНТЬЕВИЧ, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА».

— Интересный, — с сомнением в голосе сказала тетя Калерия.

— Глаза красивые, — неуверенно поддержала ее тетя Ина и грустно посмотрела на Запукину.

Полюбовавшись на фотографию, Запукина сообщила, что «взяла» ее с цеховой Доски Почета.

Я замер в ожидании, когда тетя Калерия ей врежет, что красть нехорошо, повесьте немедленно назад, но та задумчиво произнесла:

— Если вы так серьезно к нему относитесь, Верочка, надо, чтобы у вас возникли общие интересы. Он, конечно, ведет какую-то общественную работу?

— Ага, — тараша глаза, прошептала Запукина. — Ведет. Кружок текущей политики.

— Вот и запишитесь.

— Ага, — от старательности Запукина приоткрыла рот.

Тетя Ина глядела на старшую сестру с восхищением.

Запукина записалась в кружок. Теперь она от корки до корки прочитывала «Ленинградскую правду» и внимательно слушала радио. Радио у нас было включено раз и навсегда, оно начинало говорить в шесть утра и кончало, когда все уже спали, но раньше Запукина, увлеченная своим «ОН-сказал-я-сказала-я-звонила-ОН-не-звонил», и внимания не обращала, что там передают. Теперь же могла, внезапно прервав заунывное повествование, вдруг зашикать на всех и кинуться к динамику, чтобы прибавить звук.

Анна Ефимовна жаловалась: Вера одолевает ее дурацкими разговорами.

— Можете себе представить? Только я в кухню — топ-топ. Бежит. И сразу с вопросами, как будто мне делать нечего. Вчера пристала: есть ли жизнь на Марсе, — это я вам скажу! Пара пустяков? Столько насущных проблем у нас тут, а ее волнует какой-то, извиняюсь, Марс-шмарс. Я уж боюсь выйти на кухню, но надо ведь покормить Негодяя, бедное животное никто не кормит!

Зачем понадобились Запукиной сведения о Марсе, неизвестно, но с этим вопросом она обращалась и к теткам, и даже ко мне. И я ей сказал, что жизнь там точно есть, кто же этого не знает? Живут пауки ростом со слона, нам об этом говорили на географии. Секунды две Запукина смотрела на меня вылупив глаза, а потом, жалобно пробубнив: «Да-а, ты шутишь, ты всегда шутишь», ушла к себе в комнату.

Что касается Негодяя, то Негодяй был наш кот, я поймал его на помойке и принес в квартиру по просьбе тети Ины — нас измучили крысы. Они съедали крупу, прогрызая кульки, из-за чего мы все могли, по словам Анны Ефимовны, угодить в инфекционную больницу с желтухой или другим заразным заболеванием, чуть ли не чумой. Кроме того, они нагло носились по коридору, стучаясь в темноте об ноги проходивших, и тогда тетя Калерия с криком: «Пасюка!» — буквально падала в комнату, вся бледная:

— Следующий раз будет разрыв сердца, эта проклятая Пасюка вгонит меня в гроб, увидите!

Тетка была уверена, что серая крыса-пасюк (клич-

ка «Пасюка») у нас в квартире всего одна, но зато очень активная, злобная и вездесущая.

Пасюке была объявлена тотальная война. Яд не помог. В ход пошли кошки. До Негодяя я притаскивал со двора двух других котов. Ночью из коридора доносились звуки боя — писк, шипенье, какой-то стук и кошачьи вопли. Утром мы находили кота на шкафу. Шерсть на нем стояла дыбом, ухо было разорвано и кровоточило. В руки кот не давался; царапался и шипел, а вырвавшись, бежал к двери на лестницу, где сразу начинал скрестись, громко при этом завывая.

Негодяй расправился с Пасюкой в первую же ночь. Шум в коридоре был страшный, продолжалось это несколько часов, я, помнится, так и заснул, не дождавшись конца сражения. А проснулся от пронзительного крика. Кричала тетя Калерия. В длинной ночной рубашке она стояла на обеденном столе и гонко, на одной ноте, кричала: «А-а-а-а!»

Вокруг стола бегала растрепанная тетя Ина, протягивала к старшей сестре руки, все время повторяя: «Каля, ну Каля, она же дохлая, дохлая, ну Каля же!»

Потом выяснилось: проснувшись, тетя Калерия почувствовала босой ногой что-то меховое и решила, что это кот, дрыхнувший у нее на кровати вместо того, чтоб ловить крыс. Она протянула руку — согнать — и наткнулась на дохлую Пасюку.

«Пасюк» у нас оказалось много, за неделю Негодяй передошил штук шесть. И всех до одной принес тете Калерии, которую почему-то назначил своей хозяйкой. Каждый раз вручение трофея сопровождалось воплями и залезанием на стол или диван, но

кота тетки безоговорочно признали и заужавали. Не-
годяй был абсолютно черный, длинный, с обломан-
ным (или обрубленным, а может, и откушенным) у
кончика хвостом. Тетки считали, что для повышения
боееспособности кормить его надо поменьше, а то за-
естся и охладает к крысам. Анну Ефимовну это возму-
щало: взяли животное, обеспечьте полноценное пита-
ние. Ласковым «кыс-кыс-кыс» она вызывала Негодяя
на кухню, и оттуда слышалось нарочито громкое:

— На́ уже! Ешь уже! Тебя же никто не кормит!

Тетя Ина как-то сказала, что эта кормежка —
одна видимость, педагогическая хитрость, — куски
супового мяса, которые Анна Ефимовна бросала Не-
годяю, были, по мнению тетки, видны только в мик-
роскоп. Думаю, что тетя Ина была не права, живот-
ных Анна Ефимовна любила и всегда подкармлива-
ла, особенно бездомных. Последние годы своей жизни
(умерла Анна Ефимовна за девяносто) она, как рас-
сказывали тетки, «просто помешалась на этих котах»
— собирала все объедки, какие оставались в кварти-
ре, складывала в сумку и ходила по соседним дворам,
скикая кошек из подвалов. В одном из дворов она и
умерла — упала и сразу умерла, мгновенно. Тетки
завидовали: всем бы так. И говорили — это справед-
ливо, хороший человек должен умирать легкой смер-
тью в глубокой старости. В тот последний день Анна
Ефимовна приколола к своей двери записку: «Ушла
кормить кошек».

— Как чувствовала, раньше — никогда никаких
записок, — вздыхали тетки.

С тех пор, говоря о смерти, они всегда называли
ЭТО — «уйти кормить кошек». Тетя Калерия так и

написала мне в Петрозаводск: «Алеша, приезжай почаще, а то уйду кормить кошек, не повидав тебя. Я ведь должна уйти первая, я старше, а ты уж тогда не оставляй Георгину».

...Они ушли в один год — сперва тетя Ина, а за ней — тетя Калерия. Оба раза меня вызывали телеграммой, и я успевал только проводить. Обе скончались внезапно, были хорошими людьми, а хороший человек должен умирать легко...

А в те далекие времена им было немногим больше, чем мне сейчас. Но вот какого же возраста была Вера Запугина? Тогда-то я не видел между нею и тетками принципиальной разницы, но сейчас думаю — было ей лет двадцать семь — двадцать восемь, не больше. Выросла она в детдоме, во время войны была на оборонных работах под Ленинградом, потом пошла на завод. Жила в общежитии, а летом сорок седьмого переехала к нам.

Вскоре после того, как Запукина поступила в кружок текущей политики, мне совсем не стало житья. Мало того, что своим «ОН-не-звонил» меня доводили до бешенства, мешая заниматься, теперь добавились еще просьбы. По вечерам Запукина ловила меня в коридоре (при тетках стеснялась) и, косясь на нашу дверь, шептала:

— Алеша, пойдем, а? Набери номер, а? Набери, и если женщина, позови Михаила Терентьича, а если ОН, дай трубку мне.

Как правило, к телефону подходил мужчина. Говорил: «Алло. У аппарата». Я совал трубку Запукиной, и она начинала бляеть:

— Михал Терентьич, это я, Запугина Вера. Да. Я

только спросить... Я говорю — спросить хотела. Про положение в Китае.

Этот Михаил Терентьевич, как дурак, принимался объяснять. Трубка гудела, Запукина таращила глаза, приговаривая: «Ага. Ага. Понятно», а сама все делала мне знаки, чтоб я ушел. А я не уходил, еще чего.

— Какой же ты вредный, — жаловалась она, вся красная, положив, наконец, трубку после того, как в сотый раз попросила своего Терентьевича «звонить, если что».

— Не будет он тебе звонить, чего ему звонить, у него жена есть! — мстил я Запукиной за «вредного» и уходил, дав себе слово больше ее просьб не выполнять. Но на следующий же день она подлавливала меня опять, и я не мог отказаться.

Если в трубке звучал женский голос, я всегда говорил:

— Здравствуйте, позовите, пожалуйста, Михаила Терентьевича, это с работы звонят.

— Спасибо, сейчас он подойдет, — вежливо отвечала женщина. Она шла звать мужа, а я с осуждением смотрел на Запукину, корову этакую, топчущуюся рядом.

Накануне майских праздников Запукина влетела к нам в комнату, вся пылая, и объявила, что ОН придет! ОН обещал!

— Я сказала: «Зайдите после демонстрации, посмотрите, как я живу». А ОН: «Спасибо». Я ему адрес на бумажке написала и дала.

Тетки почему-то ей поверили и очень воодушевились. Тетя Ина даже слезла с открытого окна, которое как раз мыла, они уселись втроем, как всегда:

тетки на диване, Запукина у стола. И стали обсуждать, что купить и сготовить, и в какое платье Верочка должна нарядиться. И как причесаться.

Во дворе орала радиола — Левка, сын Евгения Давыдовича, как обычно, выставил ее на подоконник, чтобы все знали про его богатство; время от времени доносились крики «штандер» и взлетал мяч, это играли маленькие девочки во главе с дылдой Бородулиной, которой я сегодня совершенно случайно попал из рогатки в лоб. Я не хотел в нее попасть и даже извинился, но Нинка все равно обещала, что сегодня же придет и все честно расскажет моим теткам, какой я расту хулиган и что меня надо сдать в ремесленное училище. А завтра она специально пойдет ко мне в школу и тоже честно все про меня расскажет, и про рогатку и про то, как я врал, будто мой отец летчик и погиб в Испании, когда она, Нинка, точно знает: отца у меня нет и не было, я незаконный, и мать меня тоже бросила. Вот тут я и дал ей по башке, не сильно дал, больше для порядка, а она заорала, что — все, теперь уж — все! И вот я весь вечер ждал, что сейчас раздастся звонок в дверь и Нинка явится вместе со своей мамашей тетей Клавой, та начнет орать, а Нинка притворяться, что ревет, а сама станет исподтишка корчить мне рожи.

Но Нинка преспокойно играла в «штандер», а тетки с Запукиной взахлеб болтали про винегрет и студень из каких-то ножек, про голубое платье с рюшками, буфочками и выточками, пироги, скатерть и хрустальные рюмки, которые тетя Калерия даст Запукиной, если та постарается их не разбить.

— Это мамино приданое, — строго сказала тетя Калерия, — но вы все равно возьмите. Сервировка стола очень и очень много значит. Она создает атмосферу.

— А патефон? Можно, я патефон возьму? — пискнула Запукина и посмотрела на меня испуганными глазами. — Я сразу отдам, правда-правда. У меня пластинка есть новая «Вам возвращая ваш портрет», очень хорошая. До того задушевная, что прямо...

Я не успел разозлиться — позвонил телефон, и я пулей вылетел в коридор. Это могла быть тетя Клава — захотела удостовериться, что тетки дома, чтобы потом прийти скандалить. Я схватил трубку, и незнакомый мужской голос попросил Веру Петровну.

— Нет таких! — заорал я радостно, нажал на рычаг, повернулся и увидел рядом Запукину.

— Кто это? — она была бледная и, как всегда, испуганно тарасилась. — Кого звали?

— Не туда попали. Веру Петровну какую-то.

— Как — «не туда»?! Что ты наделал! Я же Вера, это меня!! — Лицо Запукиной пошло пятнами, на глазах выступили слезы. — Зачем ты?.. Вредитель! — Она закрыла лицо руками и принялась громко всхлипывать.

Примчались тетки, схватили ее под руки и повели к нам в комнату, где отпаивали водой и уговаривали, что это был не ОН, что, правда, кто-то просто ошибся.

— Вы же не Петровна, вы же Ивановна, Ивановна, — повторяла тетя Ина и, сама чуть не плача, гладила Запукину по плечу.

— Мало ли что, — рыдала та, — ОН по отчеству

не знает, все «Запугина» да «Запугина», редко, если «Вера» скажет. Это ОН конечно же...

— Если это был ОН, позвонит еще раз, — сказала рассудительная тетя Калерия.

— А вдруг ОН завтра не может прийти, заболел, хочет предупредить? — не унималась Запугина.

Кое-как теткам все же удалось ее успокоить. Весь вечер они вместе готовились к завтрашнему приему, тетя Ина пекла пирог, тетя Калерия зачем-то выставила на буфете всю посуду, разглядывала и умилялась: «Это мамина чашка, это папин подстаканник, а это — Марусина первая тарелка, видишь, Алеша?.. А где же хрустальные рюмки, стояли тут, на верхней полке. Алеша, ты не трогал? Точно?» В конце концов я сбежал. Зашел за Толиком, и мы отправились бродить по городу. Было тепло, окна открыты, люди без пальто. Мы с Толькой зашли в кино — в Доме культуры рядом с нашей школой шла «Расплата», а я как раз недавно прочитал «Графа Монте-Кристо». Домой я вернулся поздно, тетя Ина уже два раза выходила меня встречать. Я увидел ее в переулке около арки наших ворот и, пока мы с ней поднимались к нам на второй этаж, успел в двух словах рассказать содержание фильма. А дома нас ждала неотвратимая тетя Калерия.

ОН так и не пришел. Все утро Запукина, свежесвыкрашенная в рыжевато-коричневый цвет и мелко завитая, с пунцовыми губами и выщипанными бровями, поверх которых черным карандашом были нарисованы новые, роскошные, весь день она, наряженная в голубое крепдешинное платье с буфами и вытачками, просидела у нас на подоконнике. Из на-

шего окна виден был двор, который ОН должен был пересечь, прежде чем подойдет к нашей парадной. Тетки ушли на демонстрацию, на окне, рядом с Запукиной, играл наш патефон, переключаясь с нахальной радиолой Евгения Давыдовича. Запукина без конца заводила свою новую пластинку «Вам возвращая ваш портрет». Мне надоело, и я ушел — мы договорились с Толиком попытаться сегодня еще раз попасть на «Расплату». Дура Запукина про этот фильм сказала, что он «пустой, но музыкальный».

Когда я бежал через двор, она меня окликнула и стала звать обратно, мол, надо тут сделать одну вещь. Я сразу догадался, какую, и крикнул ей, что опаздываю. Я знал, чего ей надо: чтобы я позвонил ЕМУ. Фиг ей.

Когда я вечером пришел домой, Запукиной у нас не было. Тетя Ина накрывала на стол, готовилась к праздничному ужину, тетя Калерия убирала в буфет хрустальные рюмки из приданого моей бабушки. Запукина сидела в своей комнате, дверь туда была плотно закрыта, патефон пел «Я о любви вас не молю, в моем письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю». Вздыхнув, тетя Ина сказала, что мужчины часто бывают удивительно слепы и жестоки, и я понял, что Запукина ЕГО окончательно не дождалась.

Патефон заиграл «Уходит вечер», тетки все вздыхали, а я думал про мать, от которой очень давно не было писем, думал безо всякого беспокойства и без обиды — она иногда не писала по несколько месяцев, — просто пытался представить себе, как она там. Но видел ее не где-то, а здесь, в нашей комнате, как она танцует под патефон в атласном халате с птица-

ми и смотрит куда-то синими глазами, а на губах улыбка. В окно светит солнце, и кажется, что волосы у матери совсем золотые...

Мы сели за стол. Пластинка кончилась, и Запукина сразу завела «Утомленное солнце». А я стал думать про курзал, то есть не про сам курзал, а про летний вечер в Сестрорецке, про дачу, желтую, двухэтажную, со множеством веранд и башенкой. Одна из веранд — наша, в первый и последний раз в моем детстве я провожу лето не с детским садом и не в пионерлагере, а на даче с тетками. Тетя Калерия в отпуске, тетя Ина каждое утро (я еще сплю) приносит от молочницы банку парного молока, а потом уезжает в город. Возвращается она вечером с полной «авоськой» — мы с тетей Калерией встречаем ее на станции. Каждый раз происходит сцена с вырыванием «авоськи» друг у друга:

— Калерия, отстань, я донесу.

— Нет, ты устала.

— Не морочь голову, тебе нельзя тяжести.

— Алеша, что ты делаешь? Прольешь сметану! Отдай сию же минуту, у тебя будет грыжа! — это кричат уже обе, хором, и сразу тетя Калерия заводит опять:

— Георгина, перестань валять дурака, я тебе сказала: дай сумку, я старше, ты должна слушаться. И — видишь? Ребенок уже нервничает.

Кончалось тем, что они несли сумку вдвоем — тетя Ина за одну ручку, тетя Калерия за другую, и обменивались по дороге свежими новостями про хозяйку дачи и соседку Зинку. Я плелся рядом и нудил насчет мороженого, а меня пугали ангиной, при которой две недели не позволят купаться...

— Алексей, почему ты не ешь? Закрой рот, муха влетит! — прервала мои воспоминания тетя Ина.

— О чем задумался, детина? — спросила тетя Калерия.

— О Сестрорецке, — ответил я честно. — Помнишь, как ты ходила в курзал?

Тетки переглянулись:

— Неужели и ты помнишь? Совсем ведь был маленький!

Я помнил. И до сих пор очень даже хорошо помню вечер выходного дня, очень теплый, в то лето все вечера были теплые, а дни — жаркие. Солнце уже село, небо над заливом лиловатое. На всех участках играют патефоны и качаются гамаки. Я тоже качаюсь в гамаке, а неподалеку от меня, на крыльце, тетя Зина, соседка, заводит патефон. Мне тетя Зина очень нравится, чем-то она даже походит на мою маму, кроме того, у нее есть коралловые бусы. Тайком от моих теток она иногда покупает мне мороженое — эскимо на палочке, поэтому я всегда прошусь, чтобы меня отпускали с тетей Зиной на базар.

Сегодня к тете Зине должен приехать из города ухажер, и они пойдут в курзал — это я слышал утром, тетя Калерия сказала тете Ине за завтраком. И вот ухажер наконец приезжает, но не один, а с товарищем. Товарищу для курзала нужна дама. Тетя Зина прибегает к нам на веранду, и там происходит совещание. Из гамака я все вижу и слышу — окна в сад открыты настежь.

— Глупости! — возбужденно говорит тетя Зина. — Он тоже старый, ему больше тридцати!

Она уходит, а через несколько минут на крыльце появляются тетя Калерия с тетей Иной. Тетя Ина в своем всегдашнем сарафане, а вот тетю Калерию не узнать: на ней светлое платье и брошка в виде паука с зеленым брюхом и золотыми лапами. На голове — берет, сдвинутый набок. Обута тетя Калерия в парусиновые туфли, ослепительно намазанные зубным порошком. Тетки проходят мимо меня по дорожке, и я чувствую сильный запах «Красной Москвы», я его хорошо знаю, тетки признают только эти духи.

У калитки тетю Калерию поджидает нарядная тетя Зина. С ней двое мужчин, высокий и маленький, они в одинаковых белых штанах, темных пиджаках, без галстуков, в белых рубашках «апаш», это слово я тоже знаю от теток. Я высовываюсь из гамака и пытаюсь угадать, кто из этих двоих тети Зинин ухажер, а кто — товарищ. Конечно, лучше бы товарищ был тот, что повыше!

Шагах в пяти от калитки тетя Ина поворачивается и деловито семенит назад, шепча себе под нос, что надо было надеть «лодочки».

Тетя Калерия идет к калитке одна. Я наблюдаю, как она подходит и знакомится, по очереди протягивая руку — сперва высокому, потом маленькому. Ура! Ясно — товарищ ухажера все-таки высокий. Я радуюсь. Но длинный вдруг берет под ручку тетю Зину, а маленький — тетю Калерию. И вот они уже за калиткой.

Я вылезая из гамака, подбегаю к забору и смотрю им вслед. Они удаляются вдоль улицы. Тетя Калерия с товарищем ухажера идут сзади, товарищ ухажера чуть повыше плеча тети Калерии, кажется, он

не ведет свою даму, а висит у нее на руке. Тетя Зина со своим дылдой их обогнали, идут, прижавшись друг к другу плечами, ухо к уху — ноги врозь, ничего красивого в этом нет!

Темнеет. Играют патефоны. «Уходит вечер, вдали закат погас». От курзала доносится духовой оркестр. Я ненавижу товарища ухажера.

...Да, я ничего не забыл. Я узнаю каждый дом в нашем длинном переулке. Я прошел еще только половину, нет, чуть больше: половиной пути от дома до школы всегда считалась поликлиника, а наш дом и вообще в самом конце, недалеко от вокзала.

В юности, гуляя здесь с девушками, я хвастался, что наш переулок уникальный, можно прожить целую жизнь, ни разу никуда не выходя. В самом деле — у нас есть все, во всяком случае, тогда было. Вот в этом роддоме я, например, родился. А рядом — детская больница, там же была и поликлиника... Здесь я один раз пытался получить освобождение от школы — боялся идти на зоологию, по которой мне накануне вlepили двойку. Двойка — это пусть, но злоехидный Емельян еще записал в дневнике: «Безобразничал на уроке: вел себя вызывающе. Прошу родителей явиться в школу». Тете Калерии я дневник не показал, показал по секрету тете Ине, она и пошла. А что я такого сделал, в конце концов?! Емельян спросил меня с места, какая температура у дождевого червя, и я сказал, что 36,6°. А он посмотрел на меня, как на какого-нибудь Риббентропа, и тихонько так спросил: «А при гриппозном состоянии?» И не стал дожидаться, что я скажу, вкатил пару, и будь

любезен. И замечание — само собой. Слава Богу, тетя Калерия не узнала, сестра у нее настоящий человек.

Не помню, получил я тогда освобождение или нет. Кажется, получил — уж очень кряхтел и жаловался на живот, докторша даже хотела направить меня в больницу насчет аппендицита... Впрочем, может быть, история с аппендицитом была в другой раз.

Иду дальше. Через два дома от больницы детский сад, я перехожу улицу, чтобы подойти к нему и постоять у входа. Сюда меня водила тетя Калерия, а домой всегда забирала тетя Ина, она освобождалась раньше. За зданием детсада был тогда маленький дворик, куда нас выпускали гулять. Там росли два больших дерева. Я обхожу здание. Дворик на месте, и деревья тоже. Деревья, вопреки художественным произведениям, не меньше, чем были. Под одним из них тогда стояли качели и барабан. Если встать на него и ухватиться за перекладину над головой, можно бежать на месте — барабан вращается под ногами. Мне это очень нравилось, пока я однажды не свалился с этого чертова барабана прямо на глазах у Нинки Бородулиной. Она, конечно, отвратительно хохотала, а я разбил колено, но не мог из-за нее зареветь, что еще обиднее. Потом мне делали укол от столбняка. Сейчас барабана нет, они сразу после войны куда-то все подевались, может, признаны особо вредными из-за бессмысленности? На том месте, где он стоял, теперь длинный, низкий бум. Он покрашен в черную и оранжевую полосы и кончается тигриной башкой. В наше время таких изысков не было. Рядом с бумом скамейка, подвешенная на цепях. Я сажусь на нее и медленно раскачиваюсь.

Небо над домами все-таки еще довольно светлое, потому что скоро весна. Я уже чувствую ее, хотя сейчас только февраль. Через двор идет невысокая, плотная женщина, издали похожая на нашу Запукину. То есть это мне хочется думать, будто — похожая, и, когда женщина проходит мимо меня, я нарочно отвожу взгляд, чтобы не разочаровываться. А что? Может быть, это Запукина и есть! Я, во всяком случае, никогда уже не смогу твердо сказать, она это была или не она, я не видел лица.

А тогда, второго мая сорок седьмого года, она не вышла утром на кухню. Тетя Калерия с тетей Иной стучались к ней в комнату. Она не ответила.

— Верочка! — кричала тетя Калерия. — Откройте сию же минуту, это нетактично — так пугать людей!

Верочка наконец открыла, тетки вошли и долго у нее оставались. Вернулись они озабоченные и во время завтрака все спорили, правильно или нет поступила Вера, что разорвала какое-то письмо. Я понял, что письмо было ЕМУ и тетки его все-таки прочли, достав и сложив с разрешения Запукиной обрывки, которые она запихнула в печь.

— Жалко девчонку. Какое письмо, вся душа вылилась. Да-а... — задумчиво говорила тетя Ина, размешивая ложечкой сахар в чашке с чаем.

— Прекрасное, поэтическое письмо. Оно растрогало бы даже каменное сердце, — горестно соглашалась тетя Калерия. — А посылать все равно было нельзя! Как это так? Он ее не любит, это ясно без слов, зачем же себя унижать? Верочка — интересная девушка...

Это кто это интересный? Запукина?! Я фыркнул и облил чаем праздничную скатерть. К большому моему удивлению, взыскания не последовало, тетя Калерия только посмотрела на меня, подняв брови, но тотчас повернулась к тете Ине и сообщила той, что девушку украшает гордость. Чем кончился их разговор, не знаю, я очень торопился во двор и в темпе ушел, прихватив с собой кусок пирога. Тетки что-то неизвестное кричали мне вслед. Наверное — чтобы я не смел бегать по крышам и лазать по чердакам, а как раз именно это мы с ребятами сегодня и собирались делать, очень ведь интересное дело, в самом деле интересное, я и сегодня так думаю.

В этот же день Запукина вернула наш патефон и больше по вечерам не приходила. Она сидела и сидела одна до поздней ночи, мы уже ложились спать, а из-под ее двери все еще виден был свет. На кухне она ни с кем не разговаривала, но была очень вежлива, если к ней обратятся. На вопрос Анны Ефимовны: «Что же это вы, деточка, такая бледненькая? Вам-таки необходимо проверить г э м о г л о б и н» — сказала: «Большое спасибо за внимание, Анна Ефимовна, я здорова».

Выглядела Запукина плохо, это даже я заметил — щеки обвисли, как у Ивася, боксера Нинки Бородулиной (ее родители недавно взяли собаку), глаза смотрели жалобно, волосы, которые Запукина перестала завивать и красить, болтались пегими сосульками. В конце мая стало известно: «Вера просто сошла с ума, вы подумайте, — подала на расчет и завербовалась куда-то на Север, чуть ли не в Воркуту».

Теперь она стала иногда заходить к нам опять.

Сидела, пила чай, наливая его в блюдечко, разговаривала с тетками о том, что сегодня в трикотажном давали дешевые кофточки и во Фрунзенском выбросили «танкетки», но она не стала стоять, ей теперь кофточки и туфли не нужны! Тетки переглядывались, но не возражали. Выражение лица Запукиной не располагало к возражениям, оно было какое-то непреклонно-отрешенное. В ответ на тети Инины «охи», что ей трудно будет на Севере, горделиво отчеканила: трудности ее не пугают, и не то видала, зато там — ЛЮДИ. Однажды тетя Ина не выдержала и поинтересовалась, как же все-таки относится ОН к предстоящему отъезду Веры? Запукина посмотрела на тетю Ину долгим взглядом и сказала, что не хочет об этом говорить. Потом отодвинула чашку, буркнула «спасибо», встала и ушла к себе. В тот вечер тетя Калерия долго пилила младшую сестру за поразительную бестактность. А Запукина после этого не появлялась у нас целую неделю...

— Совести нет ни на копейку! Сейчас милицию позову! — раздается над моей головой. Я вздрагиваю и вижу рядом высокого старика. У него багровое лицо, он весь дребезжит от ярости. — Нашли место, где собираться, подонки: у детского учреждения! Каждый вечер сидят, а утром — бутылки, и качели сломаны!

Откуда ни возьмись, рядом со стариком возникает маленькая, коротконогая собачонка и заливиисто лает на меня. Мне вдруг делается очень обидно, и я, как дурак, собираюсь обстоятельно и гневно объяснить этому мху, что ничего дурного здесь не делаю и

вообще имею право сидеть в этом дворе, это мой двор, я сюда в детский сад ходил... А сколько лет назад я сюда ходил? Сорок с лишним. Не слабо, как выражается мой шестнадцатилетний сын. Старик продолжает орать и грозиться, собака на грани инсульта, мне хочется сказать что-нибудь особенно злобное, но я молча встаю и ухожу, уговаривая себя, что, может быть, это как раз тот самый старикан, который некогда наблюдал мое падение в лужу, и собачонка — та же. И им обоим по сто лет.

Склочный старик чуть не испортил мне настроение, но как только я снова оказываюсь в переулке, тут же о нем забываю. Все-таки удивительно, как здесь ничто не изменилось. Вот аптека. Тут накануне денежной реформы в сорок седьмом году я приобрел шприц, йод, бинты, клюшку для хромых, а также эластичный пояс от грыжи. Незадолго до этого мать вдруг прислала мне перевод: «Купи себе на эти деньги, Лешенька, что хочешь. Это не на хозяйство и вообще не на нужные вещи, а на удовольствие». Хозяйственных денег у нас всегда не хватало, но тетки не взяли из моих ни копейки, хоть я и предлагал. И я решил начать копить на велосипед. А тут как раз слухи о реформе, везде очереди, скупают всё подряд. А моя огромная сумма, лежа без движения, должна завтра, как мне растолковал хваткий Толик Зайцев, уменьшиться ровно в десять раз. Из-за очередей войти ни в один магазин было невозможно, а в аптеке — ни души. И вот я пошел туда и накупил всякой всячины. За йод, бинты, шприц и пояс тетки меня похвалили — пригодится. Но при виде клюшки тетя Ина сказала: «Балдес!»

В следующем за аптекой доме — продуктовый магазин. Нет, в самом деле, и сегодня в нашем переулке можно спокойно прожить с рождения до смерти, никуда из него не отлучаясь! Вон и овощной «низок» — так называли его тетки. Вход в «низок» — через дорогу с угла, здесь наш тихий переулок пересекает улица, по которой ходят трамваи. Это из-за них меня водили в детский сад за ручку, а потом, отправляя в школу, каждый раз предупреждали, чтобы при переходе смотрел сперва налево, а дойдя до середины — направо. На этой улице рядом с «низком» был судостроительный техникум, я хотел туда поступить после седьмого класса, но тетки запретили: ты должен получить высшее образование, первый в нашей семье. Сейчас на том здании тоже висит какая-то вывеска, но мне не видно, что на ней написано.

Итак, я родился в нашем переулке, в роддоме, ходил в детсад, от которого меня сейчас прогнали старик с собачонкой, лечился тут же в поликлинике, а если надо, мог лечь и в больницу, кончил, не покидая переулку, школу и уехал с того вокзала, который виден с крыши нашего дома. Вот такие дела.

Я перехожу «трамвайную» улицу. Рядом с «низком» — будка телефона-автомата. Она всегда была здесь, из нее я звонил тете Калерии в библиотеку, когда мы собирались с ребятами сразу после школы в Стрельну за трофеями, и надо было наврать, что у нас сбор или экскурсия в музей. «Трофеи» — это, если кому не понятно, детонаторы, патроны, куски бикфордова шнура и другие полезные вещи. Лично мне посчастливилось найти однажды прекрасную финку, а Толька нашел немецкий штык, и главное,

всегда оставалась надежда, что попадетя настоящий пистолет.

Сейчас я позвоню из этой будки домой, жена, должно быть, уже вернулась с работы и ждет меня, я обещал, что буду пораньше, а сам устроил вместо этого ностальгическую прогулку. Звоню. Подходит сын. Голос его кажется мне каким-то расслабленным, и я с ходу начинаю злиться. Вместо того чтобы сказать «позови маму», вьедливо расспрашиваю, сделал ли он уроки, чем сейчас занимается, и, узнав, что слушает магнитофон, раздраженно говорю, что неплохо бы побольше читать. Эк меня! — парень кончает школу, а ему нудят про уроки! Я это все понимаю, но как-то с опозданием на три фразы. Сын спокойно и вежливо отвечает и со всем соглашается. Голос у него по-прежнему вялый. По-моему, он слушает не меня, а музыку. Черт побери, не умею я с ним разговаривать, да и все! Довольно сухо я прошу позвать к телефону мать.

— Хорошо, — отвечает он кротко.

В трубке песня, какой-то модный ансамбль, итальянский кажется, сын что-то такое говорил. Симпатичная музыка, ничем она не хуже моего «Уходит вечер», не хуже и того джаза, полулегальные записи которого, сделанные на рентгеновских пленках, мы выклянчивали друг у друга на один вечер. Вообще его образ жизни ничем не хуже того, что вел я в его возрасте. Так чего я лезу со скрипучими призывами больше читать? Их же, призывы, никто никогда не принимал и не принимает всерьез, во веки веков, аминь. Это шум, помехи, не более того. Нет, мои тетки были мудрее, даже тетя Калерия не была так

чудовищно многословна и назидательна, как бываю иногда я.

Наконец подходит жена: она там жарит блины, где я? Скоро? Я говорю, где я. Говорю, что двигаюсь по своему переулку и все никак не могу решиться подойти к дому и войти во двор, видимо, одолела старческая сентиментальность.

— Не выдумывай! — возмущается жена. — Я вот тебе покажу «старческая»! Пятьдесят лет сейчас считается средним возрастом. Официально. На государственном уровне, а ты-то у нас вообще парень хоть куда. Плейбой!

Потом она замолкает, я тоже молчу, и она тихо спрашивает, про что я думаю. В трубке играет музыка.

— Про курзал, — отвечаю я наконец.

— Про... что?

— Неважно... Я скоро приду. Целую. — И я вешаю трубку. Не понимает.

...Я сдал экзамены за седьмой класс и получил аттестат: «окончил семилетку». Отметки, в общем, были хорошие, только Емельян вывел тройку — не простил хулигана, который «устроил в классе балаган» с использованием дождевого червя. А я ничего не устраивал, я честно читал «Трех мушкетеров» под партой, а он взял и вызвал.

После выпускного вечера я несколько дней ругался с тетками, не пускавшими меня в судостроительный техникум. И, хотя туда поступала Нинка Бородулина, в конце концов сдался.

Через несколько дней я уезжал в лагерь, в Петергоф, я уже был там прошлым и позапрошлым летом,

и мне понравилось. Это был лагерь от тети Ининого завода, у меня уже завелась там целая куча приятелей. Целые дни мы проводили в парках, и с тех пор я куда больше парадного Нижнего парка с фонтанами люблю Верхние, особенно Пролетарский. Там и сейчас по будням пусто и тихо, а тогда это был просто лес с заросшими прудами — мы их называли «кики-морячьи болота» и ловили там головастиков и тритонов. Кстати, куда делись нынче тритоны? В общем, я ждал отъезда с нетерпением, тем более что очень противно было смотреть на Нинку Бородулину, которая уже воображала себя студенткой и как-то заявила мне, что разговаривать со мной одна тоска, потому что у меня — еще отрочество, а у нее, видите ли, уже юность. Зато, прогуливая своего Ивася по переулку, она вовсю кривлялась перед взрослыми парнями. В качестве девушки. На моих глазах пижон с палашом из «Дзержинки» спросил ее: «Девушка, как зовут вашего бобика?», а она: «Вы сами бо-бик!» — и глазищами хлопает, чтобы ему было лучше видно, какие у нее замечательные ресницы.

Накануне отъезда я складывал чемодан, вернее, сложили его тетки, а я конспиративно помещал там трофейную финку, ту самую, из Стрельны. Кстати, для полной роскошности можно было выменять у Тольки еще штык, он просил за него мои допотопные фантики — уж не знаю, для кого. Но я их еще раньше, год назад, сваяв дурака, зачем-то подарил Бородулиной. В общем, я копался в чемодане, вынимал финку из носков и маек, дотошно завертывал ее в полотенце, и тут в нашу дверь постучали. Я сразу захлопнул крышку, схватил со стола газету, сел на

оттоманку и только тогда рассеянно сказал: «Войдите». Вошла Запукина. Лицо у нее было бледное и даже показалось мне худым, волосы коротко, почти как у меня, пострижены, в светлых глазах решимость. В руке Запукина держала большой конверт.

— Вот, — сказала она почему-то приказным тоном и протянула мне конверт. — Тут адрес. И местный телефон. Поедешь и отдашь. Понял? Скажешь: «Просили вручить лично в руки». И больше ничего, ни одного слова. Ты понял? Отдашь и сразу уходи. А на вопросы не отвечай.

Я взглянул на конверт. Он был адресован: «Стогову Михаилу Терентьевичу (лично в руки)» — и адрес. Адрес мне ни о чем не говорил, я не знал такой улицы.

— А где это? — спросил я. — И почему нету номера квартиры? Это что, в деревне?

— Не в деревне, — строго сказала Запукина. — Это завод. Ехать надо на четвертом автобусе до Уткиной Заводи. Запомнил? А там, как выйдешь, сразу спросишь. Войдешь в проходную, справа местный телефон. Номер 369, тут написано. Вызовешь... его. И все. Ты понял?

Не дожидаясь ответа, она сурово повернулась и вышла. А я поехал в Уткину Заводь. Почему-то мне даже в голову не пришло отказаться, хотя дел перед отъездом было, конечно, полно.

Автобус тащился целый час, он был пустой и очень трясся по брусчатке. За окнами тянулся бесконечный проспект Обуховской обороны (а может, в то время он еще назывался Шлиссельбургским шоссе, не помню), я смотрел на кирпичные, потемневшие

от копоти старые здания заводов, а потом пошли уж совсем незнакомые места, точно я попал в другой город. На остановках входили люди, автобус завывал и трогался, а мне казалось, что и люди тут — другие, не такие, как у нас в центре, а как в Челябинске, где мы жили в эвакуации.

Я вышел там, где сказала Запукина, и сразу увидел завод. Проходная оказалась маленьким деревянным домиком, там сидел пожилой вахтер в гимнастерке, с наганом, и пил чай из кружки. Рядом на газете лежала сайка. Вахтер спросил:

— Тебе что, парень?

Я сказал, что мне нужен Стогов Михаил Терентьевич, я его должен вызвать по телефону номер триста шестьдесят девять.

— Зачем — по телефону? Вон он стоит!— Вахтер высунул голову в окошко и позвал:

— Стогов! Тебя тут пацан спрашивает!

И вот передо мной стоит ОН, тот, кому я столько раз звонил, из-за кого наша Запукина всю зиму мешала мне делать уроки, а теперь уезжает в Воркуту. Он стоит и смотрит на меня, а я на него. Эх, было бы ради чего красить волосы и писать по ночам письма, чтобы потом разрывать! Старый дядька, лет сорок, волосы редкие, нос длинный. В очках. И не видны знаменитые глаза. На портрете, который Запукина показывала теткам, очков не было.

Я молча подал конверт. Он молча вскрыл его и вынул оттуда свою фотокарточку, ту самую, и еще две бумажки. Лицо у него сделалось изумленным и каким-то дурацким. Он долго вертел фотографию, потом перевернул ее и стал разглядывать обратную

сторону. Ничего там не было кроме остатков клея. Потом он медленно прочитал одну за другой бумажки.

Я должен был уйти — так велела Запукина, но я стоял и ждал, что будет. Дочитав, он поднял голову. Теперь в его глазах суетилась уже полная растерянность.

— Это... это чего? — спросил он, заглядывая мне в глаза с таким выражением, точно я псих.

Вахтер перестал чавкать своей сайкой и тоже бдительно смотрел на меня.

— Что это? От кого? Что это?! — Стогов совал записки мне под нос и при этом кричал, будто я не только псих, но еще к тому же и глухой псих.

Отвечать на вопросы Запукина запретила. Я был обязан молчать. И я молча взял у него из рук бумажки. На одной из них было написано: «Тов. Запугина. Прошу Вас отработать завтра в вечер за т. Парамонову. М. Стогов». Вторая вообще была непонятная, без обращения. Там говорилось, что занятия кружка переносятся на четверг.

Не говоря ни слова, я вернул обе записки вытращенному Стогову и вышел из проходной.

— Мальчик! Мальчик! Куда? Стой! — послышалось за моей спиной. Кричали оба — Стогов и вахтер. Пусть кричат! Я помчался к остановке. Пусть хоть разорвутся! Подумаешь, тоже мне еще тип! Лысый очкарик. Жалко, я финку упаковал. Плоха ему, паразиту, видите ли, наша Вера Запугина!

Вера ждала меня во дворе.

— Отдал? — спросила.

— Отдал, — кивнул я и собрался рассказать, как

все было. Почему-то мне очень хотелось приврать, будто Стогов ломал руки.

— Я прихожу... — начал я с подъемом, но она меня остановила:

— Не надо. Я не хочу ничего знать.

Назавтра я уехал в лагерь, а когда вернулся в августе, на двери в комнату Запугиной висел замок.

Потом там сменилось еще несколько жильцов, но подолгу не задерживался никто. Сварщик с Балтийского завода, получивший эту комнату первым, только мы успели подружиться, вдруг женился и переехал к жене на Петроградскую сторону. Комната долго стояла пустой, а примерно через год там поселилась Танька, штукатур с какого-то строительства. К ней каждый день ходили кавалеры, и все разные. Некоторые из них оставались ночевать. Вели они себя тихо, на кухне не появлялись, в коридоре здоровались, но мои тетки и Анна Ефимовна были возмущены до последней крайности. Они даже пробовали вести с Танькой воспитательную работу, тетя Калерия нарочно выходила на кухню, когда Танька там стирала или готовила, чтобы громко порассуждать с Анной Ефимовной о девичьей гордости и мужском достоинстве. В ответ на «Чернышевский сказал: умри...» — Танька начинала петь арию Эдвина «Сильва, ты меня не любишь» или «Помнишь ли ты, как счастье нам улыбалось?». Голос у Таньки был сильный, она легко забивала тетю Калерию, так никогда и не узнав, что лучше умереть, чем дать поцелуй без любви. Отчаявшись, тетки просто перестали обращать на Таньку внимание, но истово следили, чтобы между нею и мной не возникали контакты. Стоило мне

оказаться в кухне или коридоре наедине с Танькой, как тотчас по крайне неотложному делу являлась тетя Калерия лично или ее разведчик тетя Ина. Беспокоились они не зря — Танька интересовала меня чрезвычайно, хоть и была грубая и бесстыжая, жуткие ругательства произносила буднично, как «стол» или «стул», могла ни с того ни с сего задрать подол и начать деловито пристегивать чулок или что-то там такое поправлять, так что приходилось нехотя отворачиваться.

Каково же было всеобщее изумление, когда в конце концов (и довольно скоро) она торжественно вышла замуж. Была свадьба, правда, не у нас в квартире, а в общежитии, где жил Танькин жених. Мои тетки, я и Анна Ефимовна получили приглашение, но тетя Калерия отказалась за всех: «Спасибо, Таня, но мы, к сожалению, очень заняты, желаем вам большого человеческого счастья». Мы подарили ей в складчину радиоприемник.

Вскоре после свадьбы Танька с мужем получили жилье в новом доме. Тетя Ина говорила, что Татьяне повезло, а ее супругу не очень, тетя Калерия возражала, что каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает. Комната между тем стояла пустая. До самого моего отъезда, — Танька вышла замуж, когда я кончал десятый класс.

А Вера уехала уже почти три года назад. За все это время от нее пришла одна открытка — какое-то поздравление с праздником, и понять из этой открытки, как она там живет, было невозможно. А мы с тетками жили по-прежнему, только никто теперь не приходил мешать мне дурацкими «ОН-СКАЗАЛ-Я-

ПОЗВОНИЛА...» Зимой в углу топилась наша печка, под розовым абажуром над обеденным столом, покрытым клеенкой, горела шестидесятисвечовая лампочка, я писал сочинение про «образ лишнего человека», тетя Ина, сидя на оттоманке рядом с тетей Калерией, штопала или вязала, а тетя Калерия шепотом, чтобы не мешать мне (и этим жутко отвлекая), читала ей новый лауреатский производственный роман, который принесла из своей библиотеки.

Весной делали генеральную уборку, тетя Ина, стоя на табуретке, водруженной на подоконник, тянулась к фрамуге, тетя Калерия держала табуретку, все время повторяя «Георгина, не упади!». Потом они вместе разбирали платяной шкаф и буфет, и тетя Калерия тужила, что накопилось полным-полно ненужного хлама, и его надо немедленно, тут же, выбросить. Но у нас никто ничего никогда не выбрасывал.

Перед Восьмым марта, дня так за три-четыре, тетки, трепеща, отправлялись покупать себе шляпы. Еще несколько дней до этого они готовились к этому торжеству — листали журнал «Работница» и журналы мод, — их у тети Калерии в библиотеке было полно; обсуждали, что будут носить в этом сезоне, какие фасоны подходят женщинам среднего и старше среднего возраста, прикидывали, какой расход не окончательно нас разорит. И наконец уходили, возбужденные, робеющие, помолодевшие.

А возвращались в конце дня, усталые и огорченные. И тетя Ина обязательно прямо с порога объявляла:

— Я так расстроилась!

И выяснялось: шляпы они купили. Но купили они

шляпы никудышные. Хотя и дорогие. Носить их категорически нельзя.

Каждый раз я с серьезным видом допытывался, почему нельзя, и всегда слышал негодующие возгласы обеих: как же носить вещь, если она тебя уродует?!

Чтобы доказать мне, а заодно еще раз и себе, что в самом деле уродует, тетки по очереди примеряли шляпы перед зеркалом, стоящим на этажерке.

— Ужас! — возмущалась тетя Ина, срывая с головы фетровый малиновый горшок с розовым бантом.

— Нет, это невысказано, это... какой-то страшный сон в летнюю ночь... — мрачно рекла тетя Калерия, внимательно глядя на свое отражение и двигая с затылка на лоб, а со лба на ухо темно-зеленую шляпу с короткими изогнутыми полями и вуалеткой. Потом шурилась и выносила окончательный приговор: кошмар.

— Обидно, — объясняла тетя Ина, — в магазине мне сперва даже показалось, что ничего. А потом, смотрю, бр-р... но неудобно же целый час торчать перед зеркалом, когда кругом народ и все смотрят. И смеются... Как «почему»? Как это «почему»? Да потому что две старые дуры примеряют шляпки!

Всю весну и следующую осень тетки ходили в косынках, а новой весной опять шли за шляпами.

— Понимаешь, Алексей, — оправдывалась однажды тетя Калерия, с отвращением разглядывая ужасный головной убор, похожий на походный котелок нерадивого солдата-обозника, украшенный пером, — все-таки хочется прилично выглядеть. Хорошо твоей маме, она красавица, такой, как она, какая шляпка не пристала?..

Я считал, не имеет никакого значения, носят мои тетки шляпы, платки или наденут мужской малахай, влияния на их внешний вид это не окажет, они же, действительно, не молоды. Мягко выражаясь... А вот моя мама... Да, с годами я начал понимать, что она и вправду красавица, любил смотреть на ее портрет, военный, в гимнастерке с погонами и орденом, радовался, когда говорили, что лицом я — вылитая мать, прямо копия.

А теток жалко, не повезло им, они ни капли не похожи на сестру. И я, как мог, старался убедить их, что купленные шляпы совсем даже ничего и им к лицу.

А вот для кого головной убор значил очень даже много, так это для студентки-девушки Н. Бородулиной. В пуховом белом берете зимой она была, между нами говоря, похожа на Снегурочку, в красной шапочке-«менингитке» напоминала, даже не знаю — чем, мою любимую Дину Дурбин, но больше всего ей шло ходить без шапки, тогда было видно, какие у Нинки красивые, прямо золотые волосы. Раньше, в школе, она заплетала их в две косы, а теперь распускала по плечам локонами, над лбом завивались колечки, а одна прядь все время падала на глаза, и Нинка на нее дула. Шурясь...

После восьмого класса я опять ездил в лагерь, все тот же, в Петергофе. И после девятого поехал туда, но уже — пионервожатым. И всего на один месяц, на август, а июль провел в городе. Это было прекрасное время: я просыпался в первом часу, долго «расчихивался», лежа в постели, в открытые окна с нагретого двора врывалась жара, из переулка доносился уже днев-

ной уличный шум. Потом я не спеша одевался и шел на кухню — там в это время никого не было, и я делал себе яичницу из четырех яиц, одновременно заглядывая в книгу, положенную на кухонный стол. Читал я и потом, за едой, у нас в комнате. Почему-то в то лето я изучал Писемского и Вас. Ив. Немировича-Данченко. Позавтракав, я сразу сбежал из дому, ибо в два часа на обед приходила из библиотеки тетя Калерия, а мне совсем не хотелось подробно и аргументированно объяснять, почему я до сих пор не на воздухе, в то время как солнце, воздух и вода.

Я заходил за Толькой, и мы отправлялись в кино. Обычно мы шли в кинотеатр, где работала его мать, она была билетершей (что называлось: работаю в кинофикации) и пускала нас бесплатно. В жаркий летний день зал бывал почти пустым, и мы усаживались на лучшие места. Выйдя после сеанса в теплый, кажущийся очень светлым двор, решали, что делать дальше. Если в кино по соседству шла интересная вещь, шли туда. Иногда просто болтались по Невскому, посматривая на девушек и обмениваясь компетентными замечаниями на их счет. От площади Восстания до Адмиралтейства мы обычно двигались по правой стороне Невского, а назад шли по левой.

Вечером я рассказывал теткам, какой прекрасный день мы с Толей провели в Парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова, как мы катались на лодках — нет, нет! — по прудам! По прудам! Там утонуть и кошка замучается! Да, а потом мы зашли в диетическую столовую и диетически пообедали, после чего гуляли по аллеям и дышали морским воздухом от залива и разговаривали.

— Воздух там прекрасный, азот, — сияла тетя Ина.

— А о чем это вы могли столько времени разговаривать? — интересовалась проницательная тетя Калерия, и я начинал воодушевленно врать, будто мы обсуждали какую-то книгу, которую нам надо прочесть за лето, — на будущий год мы ее будем проходить по литературе. Название книги, автора, да и сюжет заодно я выдумывал тут же.

— Странно. К нам в библиотеку эта книга не поступала... Но книги книгами, а надо больше двигаться, в лодке вы сидели, потом фланировали, точно вам по сорок лет. Это ненормально. Молодым людям нужен спорт, игры на воздухе.

Я тотчас соглашался и убегал во двор играть в волейбол, вслед мне звучали предостережения ни в коем случае, сохрани Боже, не разбить опять стекло у Евгения Давыдовича.

...Ночью со стороны вокзала доносились паровозные гудки, пахло гарью, и мне хотелось куда-то ехать, далеко, в неизвестные города. И я отлично понимал свою мать, всю жизнь колесившую по стране...

Когда я кончал школу, мать с отчимом жили на Урале, под Свердловском, отчим вышел на пенсию, и они купили дом. «...Но мой Мартин Иден не хочет останавливаться на достигнутом, наверное, мы переберемся на Украину», — писала мать. Этого своего Мартына Петровича она называла Мартином Иденом! Я съездил к ним в конце прошлого лета между лагерем и школой и узнал от него, что копейка рубль бережет, что сани надо готовить летом, а телегу... и что свой глазок — смотрок. И что тетки совершенно не

приучили меня к физическому полезному труду, а это очень плохо для жизни, и я непременно пропаду, как последний босьяк, неприспособленный и халатный. Вот, пожалуйста, сам напросился окапывать деревья, а ухитрился изрубить корни буквально в капусту!

«...Очень жалко, прямо до слез, что Лешенька не приехал к нам на зимние каникулы, — читал я, — может, он на что-нибудь обиделся? Напишите, я волнуюсь, я же все-таки мать, а вы, по-моему, иногда об этом забываете. Хотела я выслать денег Леше на новый костюм, ведь он кончает школу, но тут как раз...»

В тот же вечер я написал ответ, где сообщал, что все хорошо и костюм у меня есть, купили тетки. А, главное, чтобы мать не волновалась — вовсе я ни на кого не обижен — с чего бы? И дяде Мартыну большой привет.

Внизу тетя Калерия приписала, что с деньгами у нас все в порядке. Георгине с нового года прибавили, у Алексея есть все, что нужно, думай лучше о себе, у тебя слабое здоровье.

Вскоре мать с мужем перебрались на Украину.

Я учился в Московском университете, почему-то с девятого класса вбил себе в голову, что должен поступать только туда. Тетки не возражали — МГУ это МГУ! Они очень мужественно помогли мне собраться и проводили на вокзал. Мы шли пешком по нашему переулку. Я тащил свой чемодан, тетки — сумку с продуктами: тетя Ина за одну ручку, тетя Калерия — за другую. На прощанье тетя Калерия пожелала мне хранить честь семьи и высоко держать голову, как бы ни было трудно. И скорее вернуться.

— Перебесится, тогда и приедет. Не раньше, — с

непонятной и неожиданной обидой вдруг заявила кроткая тетя Ина.

На то, чтобы перебеситься, у меня ушло пятнадцать лет, и, когда я вернулся в Ленинград навсегда, моих теток уже не было на свете. После университета я работал школьным учителем в Калининской области, потом несколько лет в Петрозаводске. Там я окончил аспирантуру, защитился и стал читать лекции в пединституте.

К теткам я приезжал часто, каждый праздник, а две недели из отпуска обязательно проводил с ними. Они старели, но как-то не менялись. Прежней оставалась и наша комната, только печку больше не топили, появилось паровое отопление. Самое почетное место, то, где раньше стояла этажерка, теперь отодвинутая в угол, занимал телевизор. Его теткам подарил я, несмотря на протесты: «Зачем это, Алеша? Мы прекрасно могли бы купить сами, у тети Ины отложены деньги, а твое зимнее пальто оставляет желать много лучшего». Перед телевизором тетки и проводили свои вечера — тетя Ина при этом, как обычно, за рукоделием. В комнате Анны Ефимовны жила семья из трех человек, Егоровы — муж, жена и маленький сын, Славик. Этот Славик постоянно околачивался у моих теток.

А напротив нашей двери была теперь ванная — окно на задний двор заложили кирпичами, установили ванну, газовую колонку, и тетки радовались: не надо больше ходить в баню, с годами это стало тяжеловато. А мне почему-то было грустно...

Они очень огорчались, что я долго не женюсь: здоровенный вымахал балдес, и ни одна девушка не нравится!

А кто мне мог понравиться? Нинка Бородулина давно была замужем, выскочила на последнем курсе своего техникума, и как раз в том году я догнал и наконец перегнал ее по росту. А раньше был на полголовы ниже. Как я мог при таком положении вещей пригласить Бородулину, скажем, в кино или в театр? Товарищ ухажера тети Зины из Сестрорецка навсегда засел в моей памяти.

Я женился в тридцать два года, незадолго до того, как умерли тетки. И женился, — пусть меня осуждают, — на своей студентке, ленинградке, занесенной в Петрозаводск собственными обстоятельствами. Вскоре после женитьбы мы приехали на несколько дней в Ленинград, остановились у родителей жены и нанесли теткам официальный визит. С первого взгляда жена моя им не понравилась, я это понял сразу, хотя они худого слова не сказали, напротив — устроили парадный обед, преподнесли нам подарки: постельное белье и сервиз — и вообще были изысканны — все время помнили, что невестка из профессорской семьи, в силу чего наверняка избалована и высокого о себе мнения, и надо показать, что «кто честной бедности своей стыдится и все прочее...» За обедом тетя Калерия, слегка приподняв бровь, учтиво осведомилась, как так получилось, милочка, что вы поехали учиться в Петрозаводск, когда и в Ленинграде достаточно прекрасных вузов? Университет, скажем, Москва — это было бы еще понятно, — столица, но почему именно Петрозаводск? (Подтекст: в Петрозаводске, надо полагать, более низкие требования при приеме.) Жена с улыбкой ответила, что для нее главное — качество преподавания, а таких лекторов, как

ваш племянник, не найдешь днем с огнем ни в Москве, ни в Ленинграде, ни хоть в Париже, в Сорбонне. (На Сорбонну тетка подняла бровь еще выше.)

— В общем, мне повезло, — сияя, закончила жена, и тетя Калерия величественно кивнула, сказав, что совершенно согласна, ей повезло. (Подтекст: еще неизвестно, повезло ли мне.) Жена, к счастью, ничего этого не поняла, а заулыбалась еще радостнее, ей очень нравилось, что вот она, замужняя женщина, сидит в гостях у родных мужа и обсуждает с ними серьезные проблемы, и с ней, девятнадцатилетней, разговаривают, как со взрослой. Не то что дома, у родителей.

Под конец обеда тетя Ина, до того молчавшая, вдруг печально заявила, что я плохо выгляжу, похудел, побледнел и мне просто необходимо сходить к врачу «провериться». Моя жена доверчиво всполошилась, стала расспрашивать теток, какими болезнями болел я в детстве, чем меня лучше кормить и какому врачу завтра же показать, завтра же, прямо с утра, откладывать — ни в коем случае! Кончилось тем, что тетки ее же и успокаивали: ничего страшного, деточка, просто при случае неплохо сделать анализ крови на гемоглобин. (Анна Ефимовна, если бы стояла за дверью, захлопала бы в ладоши.) Когда мы уже прощались, тетя Калерия отозвала меня в сторону и сказала, что Светлана — очень милая девочка. И добрая. А возраст... Что ж, это как раз тот недостаток, который с годами всегда исчезает.

Больше я с тетками не виделся. (Встреча с тетей Калерией на похоронах тети Ины не в счет.) Но мы довольно часто говорили по телефону. Они повади-

лись раз-два в неделю звонить мне по междугородной. Я ругался: переводы вы не принимаете, деньги транжирите, говорил, что позвоню сам, но прошло три дня, и меня опять вызывал Ленинград. Голосом наставника тетя Калерия спрашивала, как дела на работе, есть ли у моих студентов хвосты, как сдала сессию Светочка.

— Ты балдес! Ей надо больше бывать на воздухе и лучше питаться, — вырывала трубку тетя Ина, — подорвать молодой организм — раз плюнуть!

Однажды тетя Калерия вот так, по телефону, долго (и дорого) уговаривала меня не заниматься Достоевским: «Очень уж он мрачный, Алеша, упаднический. Живя в атмосфере его произведений, ты сам станешь мизантропом. Вообще сейчас нужна другая литература, жизнеутверждающая. Бодрая».

— Хорошо. Займусь Маяковским, устроит? — спрашивал я.

— Нет! Он идейный, но грубый! — кричала тетя Калерия в трубку. — Пушкин и Лермонтов — вот это вечно и прекрасно. Ну, и еще... Николай Островский.

Тетя Ина звонила реже и всегда по конкретному делу: она сварила яблочное повидло, как лучше послать — почтой или через проводника? Или — пусть Света смеряет объем груди, тетя Ина вяжет ей теплый свитер, в Петрозаводске же — сказали по радио — двадцать шесть градусов ниже нуля и ожидается похолодание! Страшный кошмар. А носки для меня готовы, их она пришлет вместе с повидлом.

Когда тетя Ина внезапно скончалась, мы хотели забрать тетю Калерию к себе, но она отказалась: у вас одна комната, о чем ты говоришь, Алексей? А я

пока что на своих ногах. Вот переберетесь в Ленинград окончательно, будем видеться чаще, у вас пойдут дети... Только не надо с этим торопиться, Светлана должна сперва закончить институт.

Потом звонки прекратились.

Мы окончательно перебрались в Ленинград, когда комнату теток уже заняли чужие люди. Из родных у меня теперь была в живых только мать, но и ее вскоре не стало. Сообщение о ее смерти я услышал тоже по междугородному телефону: телефон вообще всегда играл в моей жизни большую роль. И вот он зазвонил в четыре утра, я схватил трубку, и сразу за телефонисткой, тускло пробубнившей наш номер, послышался голос Мартына Петровича. Голос был громкий, точно Мартын Петрович звонит не с Украины, а из соседней комнаты, и звучало в этом голосе что-то похожее на злорадство.

— Мать умерла. Внезапно, — сказал Мартын. И добавил: — Если тебя, конечно, интересует.

После этого он разрыдался в трубку.

Когда я прилетел на похороны. Мартын Петрович встретил меня на крыльце, обнял, расплакался, повел в комнату и, усадив на диван, сообщил: свою половину дома и сберкнижку мать завещала ему.

— Все оформлено нотариально, — хлюпал он, вытирая слезы, — и заверено гербовой печатью.

Меня не интересовало завещание, но Мартын Петрович много раз возвращался к нему, даже заставлял меня его прочесть. На поминках, куда пришла масса народу, он произнес речь, где рассказал, как отдал моей покойной матери все силы, а можно считать, и саму жизнь. В то время как родной сын ни-

когда не сочувствовал и не прислал ни разу ни копейки.

— Нам не надо, мы ни в чем не нуждаемся! — задумчиво говорил он. — Но тут дело в принципе, сын есть сын. Сиди, Алексей, я тебя не виню, раз о ни тебя так воспитали!

Из дальнейшего я понял, что во всем виноваты мои бедные тетки. Это они, воспользовавшись, как выразился Мартын, «временными трудностями в жизни матери в сложный восстановительный период», обманом грубо отобрали у нее ребенка и растили «волчонком, который всегда готов смотреть к себе в лес». Под конец своего выступления Мартын Петрович сообщил, что был для матери всем:

— И сыном, и отцом, и духом святым, вот так!

Нарушая правила, он обошел стол и чокнулся со всеми присутствующими. Это заняло довольно много времени, так как, приблизившись к очередному гостю, Мартын сперва долго и хмуро смотрел тому в лицо, как бы решая, стоит с ним чокнуться или нет, потом, так и быть, чокался. Но по-разному: одного сперва обнимал и похлопывал по спине, от другого отходил, скаречно поджав губы, едва коснувшись его рюмки своею. При этом Мартына Петровича заметно поводило. Подойдя ко мне, он всхлипнул и сказал, что я очень похож на мать и вообще неплохой парень, хотя у меня и есть недостатки.

— И значительные! — твердо заключил он. — Но не все потеряно. Если человек осознал, он искупит.

На следующее утро, сидя напротив меня за столом, — мы завтракали перед моим отъездом, — Мартын Петрович веско сказал, что как бывший руково-

дитель и воспитатель (кто эти несчастные, кого он воспитывал, Бог весть!) он меня (руководителя и воспитателя) прекрасно понимает: сложностей много, это безусловно. Задачи стоят большие, и надо стремиться. Но все же уверен: сорок рублей в месяц я могу для него выделить без особого для себя ущерба. Поскольку память о матери — это святое.

Я ничего не ответил и денег ему, разумеется, не посылал. Больше мы не виделись.

И вот я стою у наших ворот. Я не был здесь много лет — с тех пор, как не стало тети Калерии. Она пережила сестру всего на полгода и часто горевала: «Живу чужой век, я старшая и уйти должна была первой».

Тетя Калерия была старше тети Ины на сорок минут, но обе совершенно серьезно считали, что она — намного опытнее, а значит, умнее. Тетя Ина безоговорочно признавала сестру главной. Говорят, так бывает у близнецов.

Я на мгновение закрываю глаза, чтобы представить себе их, но не вижу ничего. Тогда я пытаюсь вспомнить хотя бы голоса, и они начинают звучать, но не так, как звучали в жизни, в моем детстве, а так, как в последние годы — в телефонной трубке, тихие и далекие.

— Здравствуй, Алеша, — спокойно говорит тетя Калерия.

— Это Алексей Юрьевич? — испуганно спрашивает тетя Ина. Она всегда так спрашивала, и только когда я подтверждал, что — да, это я, а кто же? — сразу начинала тоненьким голоском излагать свое дело.

...А телефонного голоса Бородулиной я не помню, у них телефона не было, а сама она, ясное дело, мне никогда не звонила. Вообще-то в детстве Нинка говорила басом, это точно, а до шестого класса, пока ей не вырезали аденоиды, — в нос: «баба» вместо «мама», «дет» вместо «нет». Мне это казалось очень элегантным, и я, помнится, пытался даже перекрестить тетю Ину в тетю Иду, к всеобщему большому переполоху.

Я вхожу во двор. Здесь ничто не изменилось, разве что запах: раньше в такую погоду, как сегодня, у нас во дворе пахло сыростью и древесиной — в подвалах сложены были дрова. Стемнело, почти все окна уже горят, только наши, на втором этаже, еще черные. И окно в кухне тоже. Зато над нами, у Бородулиных, полная иллюминация. Интересно, кто там сейчас живет? Занавески не задернуты, движутся какие-то фигуры, я пытаюсь вообразить, что это тетя Клава с Нинкиным отцом дядей Федором накрывают на стол к обеду, а в глубине комнаты сидит сама Нинка и решает задачи по арифметике. Ничего такого я представить себе не могу, тем более что прекрасно знаю: Бородулины поменялись и уехали в новый район еще при жизни теток. Вообще литературные изыски и штучки из серии «на него нахлынули воспоминания — все прошлое ожило и встало перед его мысленным взором» как-то не проходят. Нету там ни тети Клавы с дядей Федором, ни Нинки.

Зато я слышу музыку. Очень тихая, почти неразличимая, настолько, что на мгновение я даже начинаю сомневаться, а уж не выдумал ли я ее, она доносится из открытой форточки в первом этаже, из форточки

того самого окна, на которое Левка, сын Евгения Давыдовича, вечно выставлял свою радиолу. Окно завешено плотными шторами. В щель между ними пробивается голубоватый свет включенного телевизора — вот откуда эта музыка. И вдруг я слышу... нет, не слышу — знаю: «Уходит вечер, вдали закат погас, и облака...». Взмывают над водой разноцветные ракеты, пахнет душистым табаком и шиповником, очень поздно, я сижу на крыльце и жду тетю Калерию. Тетя Ина тоже ждет ее, вот она — прохаживается взад-вперед возле калитки. Время от времени она останавливается и подолгу смотрит в ту сторону, где курзал. И вдруг появляется тетя Калерия, проходит мимо тети Ины, точно не видит, и направляется прямо к крыльцу. Я весь сжимаюсь: сейчас она меня заметит, и мало мне не будет за то, что не сплю. Но тетя Калерия не видит и меня, проходит мимо, задев подолом своего шелкового платья. Я чувствую запах «Красной Москвы». Тетя Ина бежит следом за сестрой и тоже не обращает на меня никакого внимания. Некоторое время они о чем-то шепчутся у нас на веранде, и мне вдруг делается тревожно и неуютно. Но вот я слышу смех. Они хохочут обе, громко и весело, и тетя Калерия говорит: «Нет, ты подумай, какой дурак, какой клинический дурак!» И мне уже опять легко и счастливо, а ракеты все взлетают, и духовой оркестр в курзале играет про то, что вечер уходит, — пусть уходит, мне не жалко, подумаешь, завтра утром будет еще лучше!..

...В комнате Евгения Давыдовича поет с экрана Алла Пугачева, поет про какой-то пошлый айсберг в океане, и мотив у этой песни ни капли не похож на

«Уходит вечер», и голос, само собой, не похож на голос того певца — и вообще теперь никто не поет такими сладкими голосами.

Не знаю, для чего я иду на задний двор. Окно Запукиной все равно заложено кирпичами. На том месте, где была помойка, теперь навес для мусорных бачков. На одном из них сидит худой черный кот — один к одному наш Негодяй. Может, это его потомок? Все-таки я поднимаю голову и смотрю на бывшее окно Запукиной. Там стена, стена и все.

...Помнится, когда мы с ней прощались в день моего отъезда в лагерь, она вдруг вылупила глаза и важно заявила:

— Прощай, Алеша, не поминай лихом. Ты будешь счастлив, мне, во всяком случае, так кажется. — И добавила голосом тети Калерии: — Человек создан для счастья, а птица для полета.

...Счастлив я или нет? Можно ли считать удавшейся жизнь конкретного меня — со всем тем, что подарила мне природа, от физических данных до умственных и прочих способностей, меня, помещенного ею в конкретную точку времени и пространства, в мое «здесь» и «сейчас»? Можно ли сказать, что моя жизнь в общем хороша, благодаря (или вопреки?) всему этому?.. Но ведь тогда речь пойдет об удаче. А счастье... Есть ли, было ли оно у меня?

Много раз в жизни задавал я себе этот вопрос и никогда не мог найти однозначного ответа. Все хотелось сказать: «Вообще-то жаловаться грех, хотя...» Или: «Был бы безусловно счастлив, если бы...» Или: «Как же можно быть полностью счастливым, когда...» Наверное, в те мгновения, когда я действительно

чувствовал себя счастливым, безо всяких «если бы», «хотя» и «когда», я ни о чем таком себя не спрашивал.

Я медленно возвращаюсь в наш двор. Вдруг начинает падать снег, крупный и влажный, уже весенний — завтра выйдет солнце, и он весь растает. Вот когда моя лужа займет подходящее ей место — разольется от одного тротуара до другого!

Из-под арки ворот появляется и идет мне навстречу парень лет шестнадцати. Именно таких боится по вечерам на безлюдной улице моя жена. Такие, считает она, способны на безмотивное членовредительство. Из-за бездуховности. А в самом деле: в сонно-агрессивном выражении лица молодого человека, который сейчас приближается ко мне, ничего особенно духовного я не замечаю. Близко посаженные пустоватые глаза, толстые разлапистые губы. Одет парень «по форме», так они все сейчас одеваются (так одевается и наш сын) — в белую нейлоновую куртку «дутьш» и красную вязаную шапочку с надписью «SKI». Штаны заправлены в толстые сапоги серебряного цвета.

Парень идет прямо на меня, приходится посторониться, не то зацепит локтем. Он проходит мимо и скрывается в нашей парадной.

Что-то мешает мне уйти. Я жду одну минуту, и вот в наших двух окнах вспыхивает свет. Я знаю — это он, этот парень. Вот сейчас он снял свою фирменную куртку, повесил на вешалку в углу и направляется к столу. На столе в высокой синей чашке, прикрытой блюдечком, для него оставлен компот. Понимается, что сперва он, конечно, пойдет на кухню и разогреет обед, а компот выпьет потом, на третье. Но окно в кухне темное.

Черта с два он будет разогревать обед!.. И вообще, с чего это я взял, будто он какой-то хулиган? Никакой он не хулиган, тем более склонный к безмотивным поступкам. Парень как парень... Просто у него сегодня почему-то неважное настроение. Он уже выпил компот, залпом выпил, не почувствовав вкуса. И сел на оттоманку, не отрывая взгляда от стола. Там, на самой середине, лежит распечатанное письмо.

...Это было первое письмо матери за полгода после моей единственной поездки на Урал. Сам накопил денег, сам купил билет и только тогда порадовал теток. А они почему-то растерялись, тетя Калерия побледнела, а тетя Ина заплакала, беспомощно повторяя:

— А может, не надо, а? В другой раз? Вот спишемся с мамой, все обговорим, а?..

Смешно — чего там списываться! И вот я еду. Целыми днями смотрю в окно, а ночью, лежа на своей верхней боковой полке, представляю себе, как ранним утром выйду на незнакомой маленькой станции, не доезжая Свердловска. И увижу мать.

Но встретила меня не мать, а топорный, уверенный мужчина с прицеливающимся взглядом. Это — Мартын Петрович, а мать нехорошо себя чувствует. Сюрпризы, понимаешь, тоже — не всегда... И надо входить в положение, а ты как думал?

От станции до дома мы шли минут сорок, в основном молча. Я тащил тяжеленный чемодан, в котором лежали подарки, в том числе старая патефонная пластинка, та самая — «Уходит вечер». Я тащил чемодан, перекладывая из одной руки в другую, а Мартын Петрович шагал рядом, сторожко поглядыва-

вая на него, и редко, но весомо задавал мне непонятные вопросы. Например: привез ли я зимнее пальто.

Ночью я никак не мог заснуть, потому что за стеной шептались. И хотел только одного — домой. Потом они заговорили громче, я отчетливо услышал голос матери, тонкий, дребезжащий: «...Чужой, совершенно чужой... меня никогда не любил, он — не мой... Даже лицом... Я не привыкну... Кого могли воспитать две старые девы? Такой же лицемер, как они...» — «И эти копеечные подарки...» — а вот это уже Мартын. И снова мать: «Конечно, с деньгами у них не густо... И вообще понять их можно — надоедо, но...»

Утром, прямо глядя в ее жесткое лицо, я сказал, что хочу сегодня же уехать. И сразу началось: «Что с тобой, Лешенька? Почему?! Разве ты меня совсем не любишь? Ну, погости хотя бы до субботы, о большем я уж не прошу, насильно мил не будешь, но — до субботы. И не будь эгоистом, у нас так трудно с билетами, дядя Мартын достал тебе на субботу, прекрасный поезд, нижнее место...»

...И вот через полгода, это письмо: «...Очень жалко, прямо до слез, что Лешенька не приехал к нам на зимние каникулы, может, он на что-нибудь обиделся? Напишите, я волнуюсь, я же все-таки мать, а вы, по-моему, иногда об этом забываете...»

Парень, сидящий в данный момент на оттоманке, не берет в руки письма... да и нету там никакого письма. Выпив компот, он... Что? Листает книгу? Возможно. Но скорее всего, ставит кассету на магнитофон, чтобы успеть спокойно, по-человечески по-

слушать, пока не явились... взрослые с нудными проповедями и советами делать лучше то, а не се. Будто им известно, что лучше, а что хуже. Старым девам!

Пора возвращаться домой. Светлана, конечно, беспокоится, хоть я и предупредил. Она всегда волнуется, когда меня долго нет дома, бегаёт встречать на автобусную остановку.

Я очень люблю свою жену и горжусь ею; она добрый, умный и смелый человек, верный товарищ. И красивая женщина.

Но у нее есть один серьезный недостаток: она не знает, что такое курзал.

1985

ПЕРВАЯ НОЧЬ

Как же, заснешь теперь, черта с два! До утра промаешься, прокрутишься, а потом целый день — с больной головой. Это надо ведь, приснится же такое!

В комнате была ночь. Будильник на стуле громко выплевывал отслужившие секунды, желтоватая полоска просвечивала между краями занавесок, значит, фонарь около дома еще горел. В открытую форточку ворвался лязг пустого трамвая, хлопнула внизу дверь парадной, и тотчас раздался гулкий басовитый лай — волкодава из пятого номера повели на прогулку.

...Что ему снилось, Кравцов в точности припомнить не мог, но что-то определенно жуткое. Вроде бы его помощник, этот охломон Потапкин, вместе с мастером Фейгиным собрались его, старшего обжигальщика Кравцова Павла Ильича, загрузить во вторую периодическую печь, поскольку на участке, видите ли, до конца смены не хватило товара, то есть кирпича. А в печке, между прочим — уж кто-кто, а Кравцов знал, сегодня на термопару смотрел, и не раз, — температура тысяча четыреста градусов Цельсия.

И главное, лежит Кравцов на рольганге и знает, что сейчас закатят в печь, а сделать — ну ничего не

может: ни ногой, ни рукой не двинуть, помер, что ли? И до того стало ему обидно, что вот — как захотят, так они сейчас с ним и распорядятся, до того страшно, что заорал он, завыл во всю мочь, и сперва не было звука, а потом прорвало, точно лопнула какая-то пленка, и от рева своего Кравцов, задыхаясь, проснулся.

...Собака внизу опять залаяла, аж зашлась от злобы.

«Носят черти по ночам с кабысдохом, — подумал Кравцов, — маются люди дурью, натащили полон город зверья и держат в квартирах для собственного удовольствия, для забавы. Огромные псы, назначенные природой для охраны складов или жизни в степи при стадах, томятся в клетушках, валяются по диванам, ведь вот запретили им в сады, так они — ночью...»

Сердце постепенно унялось. Кравцов снова лег, поджал ноги и приготовился заснуть, но не получалось. Картина давешнего сна стояла перед глазами, вылезали всякие мысли насчет несправедливости: и верно ведь, живые, что захотят, то и делают над мертвыми, а какое право, может, те и не желают. Раньше были всякие завещания, последняя воля, а сейчас? Дураку ясно — не каждый усопший, кого волокут в крематорий, давал при жизни на это свое согласие. А теперь, когда ему, бедняге, слова уже не вымолвить, близкие родственники, обливаясь слезами, отправляют его в огонь. Хотя, если подумать, кладбище — тоже не сахар...

Он понял, что никакого сна не выйдет, и стал уже трезво вспоминать нудный вчерашний день, ко-

торый и послужил, теперь понятно, поводом для ночной чертовщины.

Вчерашний день, воскресенье как раз накануне отпуска, Павел Ильич Кравцов, кочегар-обжигальщик термического цеха, провел на кладбище — ездил на могилу жены, — и там ему очень не понравилось. Кладбище это, несмотря на лето, траву и цветы, выглядело на редкость уныло и страшновато. Без души. Хотя — уныло, тут, вроде бы, понятно — что веселого может быть на кладбище? — однако Павел Ильич отлично помнил, что на деревенском погосте, где под синим, выкрашенным масляной краской крестом уже сорок лет лежала его мать, вовсе не было уныло. Грустно — это да, и мысли всякие в голову приходили, спокойные мысли, неторопливые и важные, а уныния или уж, тем более, страха — не было.

Там, на сельском этом кладбище, взобравшемся на сухой холм в километре от деревни, стояли молчаливые и строгие березы, кусты малины разрослись у ворот, в начале лета вспыхивали одуванчики, а осенью вылезали на песчаных дорожках никому не нужные маслята. От подножия холма далеко, до самого леса, лежало ржаное поле, узкая и прямая дорога к опушке, где виднелась деревня, разрезала его, как пробор в волосах. Летали над полем и над березами, медленно взмахивая крыльями, разные птицы, и верилось, что мертвым тут спокойно. И было не страшно, когда подумаешь, что вот и самому придется так лежать. Не то что здесь, среди одинаковых казенных памятников, сделанных из какого-то шлакобетонного материала.

Нет, он, Кравцов, на такое не согласен.

Видел он, правда, сегодня одно старинное надгробие, не похожее на стандартные эти памятники. Большой замшелый камень лежал среди высокой травы в стороне от дорожки, а на камне — ни имени, ни фамилии, ни дат рождения и смерти. Всего три слова: «Вот и все».

То, что собственную его жену, Анну Ивановну Кравцову, скончавшуюся три месяца назад, похоронили там, куда он сам-то не хотел, это Павла Ильича не очень расстраивало: во-первых, его лично вины тут не было, все решал не он, а женаина сестра, вздорная старуха, а во-вторых, Анне Ивановне, при ее характере и способности на все быть согласной, наверняка без разницы было, где лежать.

Странно это, и признавать неловко, но смерть жены не причинила Кравцову того горя, которое нужно испытывать в таких случаях. Тридцать лет прожили, а вот померла, а он хоть бы что: ест, пьет, на работу ходит в термический цех, теперь вот отпуск взял — и никакой такой особенной тоски, уезжал ведь он каждый год один то в деревню, то в дом отдыха, и никогда от отсутствия рядом жены никакого неудобства не испытывал, но сейчас-то совсем другое дело... Притворяться Павел Ильич не умел, и родные объясняли себе и другим внешнее его спокойствие и даже равнодушие шоком и болезнью — о смерти жены Кравцов узнал, сам лежа в больнице, и не сразу, а через восемь дней после похорон. Говорили, что пройдет неделя-другая или даже месяц, и он очнется, за-тоскует от одиночества, и тогда — беда. Но вот уже три месяца прошло, а никакого одиночества и горя не получалось. Павел Ильич сам удивлялся своему

бездушию, раздумывал, почему это так выходит, и понять не мог. Внезапная и неожиданная кончина жены казалась ему случайностью, дурацкой ошибкой, и он чуть ли не саму Анну Ивановну готов был обвинить в том, что не сумела без него дать смерти надлежащий отпор, как никогда никому его дать не умела. Смерть-то, ясное дело, в тот день приходила за ним и, не застав дома, прихватила старуху просто со зла. Павел Ильич лежал в тот момент в больнице Эрисмана, как раз с подозрением на инсульт, состояние — средней тяжести, а тут супруга его, никогда на сосуды и вообще ни на какие хвори не жаловавшаяся, ни с того ни с сего помирает именно от кровоизлияния в мозг, помирает в тот момент, когда собирает сумку, чтобы нести ему передачу в больницу, так и находит ее через час соседка Антонина — лежащей на полу посреди опрокинутых банок и раскатившихся яблок.

Получалось, будто безответная и бестолковая — грех говорить, но против правды не пойдешь — бестолковая! — Анна Ивановна как бы прикрыла Кравцова от пули противника. Это она уж обязательно бы так сказала, если бы, например, он, Павел Ильич, помер вместо нее, любила выдумывать и болтать ерунду, хотя вообще говорила мало — боялась его. Но уж если скажет, так что-нибудь выдающееся. Кстати, не так задолго до смерти вдруг объявила, что, когда померет, превратится в какое-нибудь дерево, потому что часто видит во сне деревья с высоты, и близкое небо, и птиц, которые ее не боятся. Что до птиц, то, правду сказать, они ее и так не боялись, особенно синицы и воробьи — вечно толклись на карнизе у окна, клевали от пуза пшено и хлебные крошки.

...Опять забúхал под окном соседский кобелина, и из сада напротив тотчас ответил тонкий тьяк — наверняка та, рыжая, коротконогая и толстая ничья дворняга, которую вот уже год выкармливали пенсионеры из окрестных домов. Анна Ивановна, покойница, разумеется, и тут была в первых рядах: собирала в коробку из-под ботинок какие-то кости, огрызки, недоеденную кашу и носила.

Нет, не дадут заснуть, до утра будут собак пасти! Павел Ильич снова сел на кровати, спустил ноги, нашарил тапки, поднялся и побрел закрыть форточку. Фонарь уже погасили, а может, он и не горел вовсе, к чему теперь фонари — светло.

Белая, как ее называют, а на самом деле сероватого цвета прозрачная ночь текла мимо окна вдоль улицы, текла издалека, от Ладожского озера, от Невы, бесшумно оmyвая тихие, с погасшими окнами дома Петроградской, сонные головы деревьев в саду напротив, цветущие кусты сирени, беззащитный автомобиль, одиноко брошенный на мостовой. Текла эта светлая легкая ночь к островам, к заливу, а где-то за восточной окраиной, за безлюдными, отточенными улицами центра, за горами новостроек уже назревало новое утро.

Худая кошка, воровато поводя хребтом, перебежала пустую улицу к саду, на охоту за птицами шла, хищная тварь. Мелкие каблучки процокали по тротуару, вскинулся где-то короткий гудок буксира — тащит небось баржу или большой пароход, время такое, когда разводят мосты на Неве. Дунул ветер, и дерево в саду напротив махнуло Кравцову корявой веткой: «Ложись, мол, спать, нечего тут...»

...Теперь он лежал на спине и опять с самого начала внимательно вспоминал весь вчерашний день. После кладбища он ехал от Парголова в просторной электричке. Ехал, смотрел в окно, пока на Удельной не подседа к нему грузная и неопрятная старуха в синем рабочем халате поверх летнего платья в горох, в толстых, несмотря на жаркий день, коричневых рейтузах, зимних носках и разношенных мужских полуботинках. Кравцов заметил эту старуху, когда она еще шла по проходу, выискивая место, неуклюжая и какая-то неустойчивая, как будто кто-то нахлобучил кое-как верхнюю половину ее туловища на нижнюю. Мест в вагоне было сколько угодно, но уселась она, как нарочно, рядом с Павлом Ильичом и тотчас заговорила тягучим и громким голосом:

— Наташка Козырева, сука, встала, умылась, расчесалась, а ей уж на тарелке яичницу подают. Яичницу! А моя дочка мучается, как макаронина белая, звонит: мама, я ночевать сегодня не приду. А той — яичницу. Встала, расчесалась...

Кравцов поднялся и вышел в тамбур. Можно было и на Ланской сойти, даже лучше. А потом — трамваем.

...Что было дальше? Пил пиво у ларька, минут двадцать в очереди отстоял, а куда торопиться? Купил хлеба в булочной без продавца. Вот и все дела. Вечером еще посмотрел газету, включил телевизор — показывали какую-то симфонию, а по второй программе — постановку, кончалась уже. Павел Ильич телевизор выключил и решил лечь спать, по ящику этому редко что хорошее бывает, кроме программы «Время» и футбол-хоккея. Анна Ивановна,

та еще всегда глядела «В мире животных» — детские игрушки.

Так и прошло воскресенье. Завтра — первый день отпуска.

...Что он вчера за весь день сказал-то? «Один до Парголова и обратно» да еще — «Одну большую». Это когда пиво пил.

Зато в прошлый отпуск болтовни было сколько хочешь. По графику Кравцов гулял в феврале, взял в завкоме бесплатную путевку на две недели в дом отдыха в Зеленогорск, жил там в двухместной палате с одним пенсионером, который мог рассуждать, рта не закрывая, с утра до самой ночи, и каждый раз, о чем бы ни начал, первые его слова были «моя полемика такая».

— Моя полемика такая, — говорил он за завтраком подавальщице, наливая себе из чуть теплого чайника кофе, — я всегда предпочитаю знать, что я ем и что я пью, чтобы иметь возможность своевременно обратиться к врачу. Вот я вас, девушка, и спрашиваю: как называется этот напиток — отвар из желудей или бульон от мытья посуды?

Подавальщица дергала плечом и отходила, нервно толкая вдоль столов тележку, заставленную тарелками с кашей, а Павел Ильич справедливости ради возражал этому... постой, да как же его звали?.. что за бесплатно можно и желудевого кофе попить. Но старик упрямо талдычил свое:

— Моя полемика такая: говорю, что думаю, не могу молчать, если вижу безобразие, а тут — безобразие, воруют кому не лень, ты посмотри, какие они сумки вечером домой тащат! Все — хоть повар, хоть судомойка!

После завтрака они с Кравцовым обязательно шли в вестибюль и выстаивали длинную очередь за газетами. Павел Ильич, как дома выписывал, так и тут всегда покупал «Ленинградскую правду». А Полемика набирал целый ворох — и «Известия», и «Неделю», если была, а больше всего предпочитал «Литературку».

— Правильно пишут, — внушал он Кравцову вечером после ужина, — среду надо оберегать. Вот, — он тыкал пальцем в газетный лист, — опять, смотри, отравили реку, сгубили рыбу. И что? Начальству — выговор, а завод заплатил штраф. Государство, значит, наказали. Нет, моя полемика такая: за безобразия бить рублем. Каждого по личному карману, не по государственному. Чтобы заинтересованность была и ответственность. Чтобы болели за дело, а не так. Моя полемика...

Кравцов соглашался с ним уже сквозь сон, но потом отключался, а старик еще долго небось проводил свою политинформацию. Он вообще-то ничего, неглупый был старик, хотя и болтун... Да как же, в самом деле, его звали, черт возьми? Через справочную свободно можно было бы найти, поговорили бы...

Старик... Кравцов поерзал, перевернул подушку, ставшую какой-то жилистой, и подумал, что и сам-то он, по правде, старик — пятьдесят девять, через год можно на пенсию, только кто его пустит из цеха, да он и сам не пойдет, что одному дома делать? Анна Ивановна, покойница, та вот несколько не скучала на пенсии, выдумывала себе всякие дела, иногда довольно глупые: тогда, прошлый год, когда собирала

его в Зеленогорск, целыми днями бегала по магазинам. И выбегала, дурища: рубашка финская, нейлоновая, галстук — польский, кофта шерстяная, называется «полувер» — вообще черт-те чья. Вещи, безусловно, хорошие, как говорят, даже шикарные, но ему-то они на что? Два раза надеть в доме отдыха, в кино...

Кравцов тогда отругал жену, что говорить, крепко отругал, до слез. Она все повторяла:

— Я же — чтоб ты не хуже людей, там ведь всякие будут, и инженера, а ты еще интересный, молодой...

Заладила: «интересный» да «молодой», все тридцать лет она ему это пела, и, честно сказать, Кравцов ей верил, хоть и надоели ему эти похвалы, а все же и сам привык считать, что не хуже других, интересный там не интересный, а видный мужчина, и Анне Ивановне с замужеством, конечно, повезло — сама-то красавицей никогда не выглядела, даже одеться прилично и то не умела.

Вот уже три месяца никто к нему не пристаёт с такими разговорами, и как раз сегодня, то есть это уже вчера, утром, когда брился, посмотрел в зеркало и подумал: а ведь старый мужик, ну, пускай не старый, а все равно пожилой, жизнь не обманешь — раз положено через год на пенсию, значит, есть за что. Вон и волосы стали редкие, щеки в красных прожилках...

...Странная она все-таки была женщина. Иной раз могла час сидеть и смотреть, как Кравцов, к примеру, читает газету. Поглядишь на нее — отвернется, отведешь глаза — опять. Павла Ильича такое поведе-

ние всегда злило. Спрашивал не раз: «Ты чего?» — а она: «Ничего, просто так. Думаю». Думает! Что она там может думать? А один раз выпалила: «Это, говорит, я тобой люблюсь». Ну что тут скажешь! «Любуюсь»! Ненормальность и все... Нет, она неплохая была женщина, а это, глупости разные, это, наверное, смолоду, от воспитания, да и наследственность, как говорят, играет большую роль — у нее мать из поповской семьи...

...Вот с этими деревьями она как раз тогда и выдумала — что станет, мол, деревом после смерти, — когда приезжала навестить Кравцова в Зеленогорск. Приехала, натащила продуктов, как будто он тут на голодном острове, хотел выругать, да решил не портить настроение, повел показывать территорию. Погода стояла морозная, деревья все заиндевели, и вот, помнится, на берегу залива — береза... может, и не береза, короче, какое-то дерево. Ветки в инее, блестя, Анна Ивановна встала перед этой березой, подняла голову, руки на животе сложила и молчит. А потом и высказалась.

День был тогда голубой и белый...

А сегодня ночь — ну ни черта не двигалась! Окно он закрыл зря: в комнате стало душно. Сколько всего успел вспомнить и передумать, а посмотрел на будильник — только сорок минут прошло. На улице, правда, как будто стемнело.

...Он ведь ей тогда так прямо и отрезал: «Ненормальная ты, Анна, жизнь отжила, а дура дурой»... Может, и не надо было ее там хоронить, на этом квадратно-гнездовом кладбище? А с другой стороны, что

он мог сделать? Кто его спросил? Он ведь в больнице тогда лежал.

Вовсе нечем сделалось дышать, и Павел Ильич поднялся. Встал, прошел босиком по полу, подумал, что надо бы вымыть и натереть, пора приучаться — вдовец, распахнул настежь окно и отметил, что стекла тоже грязные. Можно бы, конечно, попросить Антонину, соседку, помыла бы за рубль, да с ней только свяжись. Из-за этой скверной бабы несчастную Анну Ивановну позапрошлый год чуть в товарищеский суд не потянули. А дело было такое: Антонина тогда только к ним перехала, по обмену. Это у нее уже третий обмен был, скандалила везде с жильцами, даже, говорят, в милицию на нее жалоба была. С Анной Ивановной она начала собачиться с первого дня. Из-за всего — из-за уборки, из-за плиты, из-за раковины. А ругаться с Анной Ивановной радости никакой: подождет губы и молчит, так Антонина прямо из себя выходила: «Считаешь, — орет, — ниже достоинства мне отвечать? Культурную строишь?» — и разное другое. А потом ей, видать, это надоело, так она перелаялась с соседкой из квартиры напротив, та была баба с зубами, и у них это дело быстрым ходом до драки дошло. Короче, в один, как говорят, прекрасный день — Кравцов как раз был дома после ночной смены — заявила к ним целая делегация активисток из домоуправления с коллективным письмом, чтобы принять к Антонине меры вплоть до выселения. Под письмом стояло подписей уже штук пятьдесят, и Кравцов, само собой, без слова тоже расписался, даже читать не стал, что там написано. А Анна

Ивановна, тихоня, взяла письмо в руки, изучала его чуть ли не полчаса, подписи зачем-то рассматривала, а потом ни с того ни с сего как примется рвать на клочки. Активистки и «мама» сказать не успели, как она все изорвала и обрывки кинула в мусоропровод — дело было на кухне. Кравцов даже обалдел, а Сягаева, пенсионерка из домового комитета, говорит:

— Это просто хулиганство! Причем немотивированное. И неуважение к людям: пятьдесят человек поставили свои подписи, а вы рвете. Вы что же, считаете себя умней других?

Анна Ивановна ничего ей не ответила, поджала губы и — в комнату, пришлось Кравцову за нее отдуваться, но это было уже без толку — активистки ушли, грохнув дверь, и пообещали, что напишут на Анну Ивановну в товарищеский суд за антиобщественное поведение.

Когда, заперев за ними, Кравцов отправился к жене и, стараясь сдерживаться, по возможности спокойно спросил, не сбрендила ли она окончательно, Анна Ивановна сказала, что обязана была уничтожить это заявление, потому что у Антонины — уже третий обмен и ее в самом деле могли бы выселить, что характер у нее, конечно, хуже некуда, но это, дескать, жизнь виновата, так как у Антонины не было никогда семьи и личного счастья, что злом зла не переломишь, а товарищеского суда она, Анна Ивановна, не боится. Вообще, откуда что взялось: произнесла целую речь, и Кравцов от нее отступился, ввязываться в склоку он тоже не больно хотел. С Антониной тогда так и обошлось — видно, не стали

активистки собирать подписи по второму разу, но про выходку Анны Ивановны ей от кого-то стало известно.

— Тоже мне еще добродетельница нашлась! — заявила она в тот же вечер. — Хочешь для всех хорошей быть? А мне не надо! Я на твое благородство плевать хочу! — пнула табуретку и ушла, но вести себя с того дня стала тише.

...Окно он и сам вымоет, не без рук...

На улице стемнело, откуда-то взялся ветер, а в саду шумели деревья. Теперь уже все в городе спали, те, конечно, кто в ночь не работает, дома стояли строгие и казались плоскими, как на фотокарточке. Кравцов вдруг решил, что пойдет гулять, — все равно сна не дозовешься. А чего, в самом деле, отлеживать бока в духоте, завтра рано не вставать. Прикрыл окно, чтобы не побило ветром стекла, оделся и, стараясь не топтать, а то Антонина утром устроит, вышел на лестницу, спустился и оказался на совершенно пустой улице.

Пока он там одевался да выходил, ветер пропал, деревья опять стояли спокойно. Узкая дорожка тянулась вдоль забора, опоясывала сад, а по сторонам дорожки — липы, старые, густые, так что тут, под ними, настоящая была ночь — ветки сходились над головой, как крыша.

Кравцов медленно ступал по дорожке, стараясь глубоко вдыхать прохладный воздух, — наберешься кислорода, может и удастся пару часов поспать.

Разные деревенские запахи наплывали на дорожку полосами: то — покоса, то — сирени, то — пересохшей земли из-под кустов. Что-то зашуршало наверху в листьях, сперва еле слышно, потом все гром-

че, на лоб упала капля, еще одна — начинался дождь, вот почему стемнело. Теперь капли сыпались уже часто, колотили по листьям, пробивались насквозь, мочили волосы и рубашку. Павел Ильич сошел с дорожки, шагнул под самое большое дерево, обжег ногу — носки лень было надеть — о крапиву, и боль от ожога была почему-то, как в детстве.

Дождь обвалом рушился на дорожку, хлестал по траве, земля под деревьями темнела, и только у того ствола, возле которого укрылся Павел Ильич, было сухо. Он переступил с ноги на ногу и задел нечаянно ствол ладонью. Ствол был шершавый и теплый. И казалось, немного дрожал.

А дождь вдруг внезапно прекратился — видно, туча была маленькая и вся вылилась разом, как ковшик. Сделалось тихо, свежо, посветлело. Можно было выходить.

Неизвестно для чего Кравцов похлопал дерево по стволу и переступил через мокрую траву прямо на дорожку. Уже далеко, у самой калитки, он обернулся — почудилось, будто кто-то, не мигая, смотрит в спину. В аллее, конечно, никого не было и быть не могло, капало с листьев, небо розовело между ветками. Большое дерево, под которым он спасался от дождя, отсюда хорошо было видно.

Кравцов потоптался у калитки, поглядел на дерево и пошел через улицу домой. И все казалось — смотрит кто-то из сада.

Они стояли на горе, высоко поднявшейся над занесенным снегом сосновым лесом, над белым ров-

ным полем, где с осени заблудился да так и застрял черный, худой, с торчащими ребрами трактор. Они стояли молча, по колено в сугробе, опутив головы и зачем-то скинув шапки, — пятеро мужиков: Потапкин, мастер Фейгин Борис Залманович, хозяин нижнего пса Анатолий, какой-то незнакомый военный в длинной шинели со споротыми погонами и Кравцов.

Медленно падал с неба крупный снег и таял на щеках Кравцова. Теплые струйки щекотно стекали за шиворот.

— ...Значит, я и говорю: вечное оно. Всегда было, всегда будет, — негромко говорил военный, обводя глазами белые поля, и сиротливый трактор, и далекий лес. — Россия это, ребята, такая моя полемика...

Кравцов вздрогнул, услышав знакомый голос, рванулся, но мужики все куда-то делись. Прямо перед ним на горе стояло дерево, старое, с раскидистыми узловатыми ветками. Ствол дрожал, как живой, и Кравцов, увязая в снегу, шагнул к дереву, изо всей силы обхватил его обеими руками, припал, приник лицом и почувствовал, что кора сделалась мягкой, горячей и влажной.

...Изо всех сил сжимает Павел Ильич обеими руками мокрую свою подушку в давно не стиранной наволочке, плечи его вздрагивают во сне. Седьмой час утра. В комнате давно уже солнце, высвечивает пыль в углах, блестит на стеклах двух портретов обжигальщика Кравцова — снят в разное время для заводской Доски Почета, Анна Ивановна все его фотокарточки собирала и развешивала.

Семь часов.

В коридоре громко топает соседка Антонина —

торопится на работу. Под окном утренним басом гавкает отоспавшийся волкодав. По пустой фанерке на карнизе недоуменно скачет воробей. За оградой сада расправляет просохшие ветки большое старое дерево, смотрит поверх других деревьев через улицу, на дом, где теперь уже спокойно, без снов, спит, обняв подушку, Павел Ильич Кравцов.

1975

ЗЕМЛЯ БЕДОВАННАЯ

Что бы там ни болтал Кепкер — кота звали Барбарисом, а вовсе не Васькой, и всякие Кепкерovy инсинуации, будто кот на Ваську сразу подбегал, а на Барбариса только шурился и дергал усами, все это чепуха и не его, Кепкера, дело. Потому что каждое существо, будь то кот или человек, или даже неодушевленная вещь, должно называться так, как зовет его хозяин, а хозяином Барбариса, безусловно, являлся Нил.

Что же касается самого Кепкера, то как бы ни величал он сам себя, а рано или поздно хозяин позовет его и напoмнит, кто он и как должен называться. И станет тогда наш Кепкер из Бориса Михайловича — Борухом Мордуховичем, и никакие увертки ему не помогут, пусть обзывает, сколько хочет, чужого кота Васькой, чтобы лишний раз не произнести «Багбагис».

Вот и Нил, кстати сказать, стал же в конце концов Петром Герасимовичем Ниловым 1906—1973. То же ожидает и Кепкера, сколько бы ни крутился. А раньше, когда Петр Герасимович был еще Нилом, называли его также алкоголиком или алкашом, или, еще лучше, — пьяницей. Если же Кепкер, со свойственным ему самомнением и нахальством, говорил

Нилу, будто тот нетрезв, Нил обижался и всегда поправлял, что не «нетгезв», а только выпивши, и, конечно, напоминал Кепкеру, что чья бы корова мычала, а его бы, гражданина Кепкера, лучше помалкивала, потому что известно, кто он такой, этот Кепкер. Но Кепкера подобными словами тоже не возьмешь, и не это слыхивал.

Жил Петр Герасимович (тогда еще — Нил) в небольшом хилом доме красного кирпича в переулке неподалеку от чинной и строгой улицы Воинова и загадочной и опасной улицы Каляева. Впрочем, насчет того, будто она опасная, факт тоже не вполне проверенный, и возможно, для Кепкера она и опасна, для нас же с вами — мать родная.

Нил ни ту, ни другую улицу не любил, и матью не считал, хоть водятся и там пивные ларьки. У него был свой любимый магазин, где продавать начинают не в одиннадцать, а без десяти. Адреса этого магазина мы называть здесь не будем, чтобы не наделать неприятностей хорошим людям — и тем, что за прилавком, и тем, кто ждет на улице.

Как, в сущности, мало знаем мы о тех, с кем много лет прожили бок о бок! Взять хоть Нила — почти три года прошло с того серенького осеннего дня, как стал он Петром Герасимовичем Ниловым 1906 — 1973, с каждым годом уходит он, проваливается в бездонное прошлое, как раскинувший крестом руки человек-парашютист, снятый кинокамерой с самолета во время затяжного прыжка. Летит, тает прямо на глазах темный крестик с раскинутыми руками без лица, и только туда, только в одну сторону может он лететь, а уж назад — ни за что.

И если сегодня попытаться представить себе, как выглядел Нил, то всего и вспомним неуклюжую, широкую и коротенькую фигуру, разлапистое лицо с толстым круглым носом и всегда красными щечками, волосы, торчащие так, будто кто-то долго и немело кромсал их садовыми ножницами, и маленькие глубоко сидящие медвежьи глазки. А вот какого они цвета были — уже не вспомнить. Кепкеру тут верить не стоит, он, хоть и был больше двадцати лет соседом Нила по квартире, а все равно соврет — недорого возьмет. Имеет же он наглость утверждать, что Нил похож был на татарина, в то время как Пётр Герасимович не больше походил на татарина, чем сам Кепкер, а тот уж известно, на кого похож...

Итак, маленький, широкий, неуклюжий. А дальше что? Например, как одевался? Не запомнилось. Вроде было это что-то серое, неприметное, какие-то рубашки с глухо застегнутыми воротниками, выцветшие, непонятного цвета пиджаки, штаны без складок. Где он это все брал? Было ли оно когда-нибудь новым? Висел ли в шкафу, в его комнате, выходной костюм? Наверное, висел — ведь в чем-то похоронили его, не в грязных же обносках!

Работал Нил на разных работах — и слесарем, и грузчиком, и носильщиком на Витебском вокзале. Даже пенсию какую-то заработал, на нее и жил последние годы, и не такая уж маленькая была эта пенсия, вполне хватало выпить, на что бы там ни намекал этот Кепкер. Сам он, видимо, считает, что можно заработать все деньги на свете, а, заработав, взять с собой в гроб, о котором ему уже совсем не вредно иногда подумать, ввиду преклонного возраста.

А Петр Герасимович денег не копил, тратил в первые же дни после пенсии все до копейки, а потом уж существовал на то, что брал у Кепкера в долг. Мог бы, конечно, Нил и подработать, если бы захотел, соседи по лестнице вечно приглашали: то кран починить, то водогрей, то замок открыть, когда ключ в квартире захлопнут. Нил умел чинить краны и открывать замки не лучше нас с вами, однако почему-то считается, что, если человек ходит в старом пиджаке, небритый и к тому же в нетрезвом виде, так его сам бог велел приглашать для починки водопровода.

Денег за свою работу Нил никогда не брал. Из принципа. И поэтому никто его не ругал, если из крана после ремонта начинала фонтаном хлестать вода во все стороны, а открытый с помощью топора замок приходилось назавтра менять на новый.

Кепкер Борис Михайлович эти принципы своего соседа по квартире, или, как он выражался — жильца, осуждал и называл Петра Герасимовича босяком, что так же не соответствовало действительности, как и хамские утверждения Нила насчет покойной матери Кепкера, с которой Нил не то что — чего, а никогда не был и не мог быть даже знаком, так как жила она и умерла в местечке Белыничи Могилевской области. Нил же провел свое детство и раннюю юность в Тверской области, а остальные годы прожил в Ленинграде. Встретиться с матерью Кепкера во время войны он также не мог никак: во-первых, не был никогда на Белорусском фронте, а, во-вторых, если бы и был, то не застал бы старуху в местечке, да и самого местечка не застал бы, сожгли его

немцы в сорок первом году и жителей всех расстреляли. А Нила призвали в армию в сорок втором.

Где был в это время сам Кепкер — неизвестно. Он-то, понятно, говорит, что служил в танковых войсках лейтенантом, и даже надевает Девятого мая какие-то ленточки и ходит с ними на Марсово поле якобы на встречу с однополчанами. Пусть себе ходит, не пойман — не вор.

Петр Герасимович, простая душа, всем этим рассказням Кепкера верил, покупал в День Победы на свои бутылку и, когда под вечер Кепкер возвращался домой и кричал на всю кухню тонким голосом: «Сержант! Стаканы!» — Нил вытягивался перед ним, точно перед старшим по званию, и стаканы всегда приносил.

В обычные дни Кепкер не пил — берег свое драгоценное здоровье и деньги, которые собирался унести с собой в могилу.

Не станем утверждать, что Кепкер воевал обязательно в Ташкенте или Алма-Ате, у него, будто, и справка о ранении есть, а вот насчет кота Барбариса — всё вранье: и то, что Нил поймал его в чужом дворе с целью сдать в контору, специальную для таких дел, — как пушного зверя, а потом, будто оставил — дешево платили, и то, что звали кота Васькой, и что кормил его Петр Герасимович плохо, и ему, Кепкеру, приходилось, дескать, покупать для кота мясо чуть ли не на рынке — из жалости. Нил кота Барбариса очень любил и уважал. Кот для него до последних дней оставался самым близким и родным другом, и последние мысли Петра Герасимовича были об этом коте, о чем вы еще догадаетесь.

Первая встреча Нила с котом Барбарисом произошла зимней ночью, когда Нил проснулся на своей раскладушке от холода. Холодно было потому, что пальто, которым накрывался Петр Герасимович вместо проданного вчера за трешку байкового одеяла, совсем не грело, форточку он закрыл неплотно, а теперь ее распахнуло ветром, и даже снежинки влетали в комнату и не сразу таяли. Петр Герасимович встал с раскладушки и босиком, с закрытыми глазами, на ощупь зашлепал к окну. Когда он дотронулся уже до форточки, там, на улице, кто-то вдруг зашипел. Квартира, где жил Петр Герасимович, была на первом этаже, который тщеславный Кепкер называл «бельэтажем». Окна этого «бельэтажа» — совсем невысоко, ниже человеческого роста, поэтому Кепкер настоял, чтобы приколотить к форточкам железную сетку — от воров. Так вот, за этой сеткой озябший Нил увидел на фоне метели вцепившегося в раму серого кота. Увидел и сразу заплакал, потому что вид у кота был озябший, как у самого Нила, а решетка, их разделявшая, показалась тюремной. Оба были в тюрьме — кот по ту сторону окна, а Нил — по эту.

И тогда Нил со всхлипом стал рвать окно на себя, отодрал бумагу, которой оно года два назад было заклеено на зиму, открыл, наконец, обе рамы и впустил кота в комнату вместе с морозом.

Потом они оба лежали на раскладушке под пальто, и сделалось гораздо теплее — кот терся лбом о Нилев живот.

А наутро Нил назвал кота Барбарисом и ни в какую не соглашался на другие имена, тем более на Василия, несмотря на угрозы Кепкера и крики, что

держат животных в коммунальной квартире можно только с обоюдного согласия всех съемщиков. Петр Герасимович на это только напомнил Кепкеру, какой он ответственный съемщик, и предложил выехать на землю предков, но в тот же день они помирились, и кот остался Барбарисом, Кепкер же при Ниле звал его просто «Кыс-кыс-кыс», а с глазу на глаз — Васькой.

С появлением Барбариса у Нила завелись новые заботы, он даже приделал на свою лампочку бумажный абажур, а когда настало лето, наладился ходить на рыбалку. Он и раньше любил отдыхать у Петропавловки, там, на берегу реки Кронверки, как раз напротив Зоопарка, есть поляна, где гуляют с собаками. Растут на этой поляне старые тополя, а под ними, в тени, на мягкой, как в деревне, траве можно лежать и слушать, как воют на той стороне невидимые звери, кто-то рычит, кто-то даже хрюкает, наверное, бегемот, которого Нил никогда в жизни не видел. Хоть и прожил в Ленинграде чуть не полвека, а в Зоопарке этом почему-то ни разу не был.

Нил приносил с собой на берег в кармане пиджака «маленькую», выпивал ее, не торопясь, на траве, лежал там, сколько хотел, глядя в небо и слушая звуки с того берега, а потом вставал и шел беседовать с владельцами собак.

Владельцы были люди гордые, но Нил уже знал, как с ними разговаривать.

— У меня точно такой был, — начинал он робко, подойдя к собаке. — Рексом звали. И тоже — волкодав, только хвост крючком. Медалист!

— Это — доберман-пинчер, — смягчался хозяин собаки, — не надо гладить; может покусать.

Но собаки никогда не кусали Нила.

Теперь, когда у него появился свой кот, Нил уже не заигрывал с чужими собаками. Выпив «маленькую» и подремав минут сорок, шел он через мостик на набережную, устраивался у парапета, вынимал банку с червями, насаживал и ловко закидывал удочку. Он не старался забросить далеко, где плавали, наверное, большие рыбы. Ерши и мелкие окуни лучше всего ловились у берега, среди шевелящихся зеленых водорослей и ярких конфетных бумажек.

Нил был удачливым рыболовом — у него клевало в любое время дня и в любую погоду, вопреки всем правилам. И перед дождем, и в жаркий полдень, когда, всем известно, никакая рыба не ловится, он ухитрялся натаскать полный полиэтиленовый мешок разной мелочи, садился в автобус и ехал к себе домой, где ждал его голодный Барбарис.

— Шестьдесят лет прожил — ума не нажил, — каждый раз говорил Кепкер, завидя Нила с его мешком, — лучше бы делом занялся!

Каким таким делом должен был, по его мнению, заниматься Нил, Кепкер никогда не объяснял. А Нил не спрашивал. Не спрашивал он никогда, и чем занимается сам Кепкер, так что об этом до сих пор ничего неизвестно, а неплохо бы выяснить...

Бывает — вдруг сорвется с дерева до времени пожелтевший листок и, вздрагивая в воздухе, медленно начнет падать. От чего он засох и слетел в июне, от болезни, что ли, какой, — кто его знает, а только смотришь на него и думаешь: вот — лето на дворе,

жара, ох как далеко еще до осени, все листья на дереве еще здоровые, зеленые, но не успеешь оглянуться, — пожелтеют, посыпятся друг за дружкой. Ни один листок не уцелеет, все упадут.

Так думал и Нил каждое лето, замечая первый желтый лист, летящий к земле.

А сейчас таких листьев было уже порядочно. Стайками плавали они в лужах, плоские, не успевшие засохнуть и свернуться, а лужи были еще по-летнему светлыми, голубоватое летнее небо отражалось в них.

Нил шел по улице, оставив за спиной нелюбимые Воинову и Каляеву. Был он в этот ранний час очень трезвым и тихим, вечером, как надумал пойти, рюмки не выпил, а сегодня побрился, для чего-то надел зимнюю шапку — другой не нашлось — и вот, отправился.

Непривычно хотелось есть — с утра всегда, наоборот, пить хотелось, а в голове было как-то странно: гулко, точно в пустом, высоком доме.

Редко Нил на улице смотрел по сторонам. Когда трусил в магазин, перебирая в кармане рубли и мусоля мелочь, бывал он деловитым и озабоченным, прикидывал, на что хватит — на большую, на маленькую или на красное, а бывало, только на пиво. Из людей всего и видел он — много ли народу у дверей, да есть ли кто знакомый.

Сегодня Нил глядел во все глаза. Приличные люди, одетые, как Кепкер в выходной, шли ему навстречу с большими портфелями, и Нил подумал, что, наверное, это все начальники, чистые такие, гордые, как владельцы собак. А многие, особенно женщины, вели за руки маленьких детей, и тогда Нил вспом-

нил, что — вот смех! — он-то за всю жизнь ни разу не ходил по улице с ребенком за руку. Подумал и не то что себя пожалел, а как-то удивился: надо же — старик ведь, сколько лет прожил, а смотрите, ни с портфелем походить не пришлось, ни детей заиметь.

Правда, у Кепкера вот тоже — никого, но Кепкер — другое дело, кто он такой — человек без роду и племени.

И еще внимательнее стал он глядеть по сторонам, на дома с красивыми балконами, на блестящую заграничную машину, на заспанную цыганку, ни свет ни заря уже продающую цветы.

Хоть и прожил Нил почти всю свою жизнь в городе, а привык почему-то считать себя человеком деревенским, даже часто спорил с Кепкером — что главнее, город или деревня. И всегда говорил, что, конечно, деревня — она кормит.

Кепкер тут же начинал болтать про технику и промышленность, только кто будет слушать его трепотню — не кепкеры землю пахут, не они и на заводах у станков уродуются.

А сегодня утро было особенное, с этими голубыми лужами и листьями в них, сегодня и дома были особенные, нарядные, и почувствовал Нил, что любит этот город и почему-то жалеет его, и всех людей, даже тех, важных, с портфелями. И Кепкера жалеет за то, что не дано ему вот так, хозяином, смотреть на лужи и деревья и радоваться, потому что чужие они ему, горемыке. И еще Нил почувствовал, что, наверное, скоро умрет. Это не было страшно, а было, наоборот, как-то спокойно, будто так и надо. Пора. Только еще жальче сделалось, точно без него одни

останутся без присмотра и пропадут все эти улицы и дома с балконами.

Нил еще быстрее пошел, пересек трамвайную линию, протопал по тихому переулочку, такому узкому, что хотелось боком идти, а на углу вдруг остановился. Шел от самого дома и не думал, как подойдет, как в дверь войдет да зачем все это, шел себе — и только. А тут застеснялся и ни шагу. Постоял, постоял, посмотрел через улицу на зеленые купола, на кресты золотые, стащил с головы шапку и волосы пригладил пятерней. Хотел было перекреститься, даже руку ко лбу поднес, да опять чего-то застеснялся и боком-боком назад в переулок, а вдруг там, сзади, где-нибудь в подворотне, стоит и ехидно ухмыляется Кепкер?

Если вы подумаете, что после этого прекрасного утра Нил бросил пить и занялся раздумьями, то сильно ошибетесь. Пил он по-прежнему, если не больше, и с Кепкером по-прежнему ругался, но только как пожалел тогда дома и улицы, так же, еще даже сильнее, жалел теперь своего кота Барбариса, все думал, что станет со зверем, когда его, Нила, зароят в землю. Пытался он заговорить на эту тему с Кепкером, но тот ничего умнее не придумал, как замахать руками и закричать:

— Болтает! Сам не знает, что болтает! Он, полюбуйтесь на него, собрался умирать! Меньше надо пить, вот что я вам скажу!

Ничего не понял Кепкер. И Нилу пришлось плюнуть на пол и помянуть опять недобрый словом кепкеровскую старуху-мать, отдавшую концы в местечке Белыничи.

Конечно же, эта история сентиментальная. Но читатель вовсе не обязан распускать нюни — ох, дескать, какая жалость: доживают свой век в каком-то паршивом домишке, наверное, без удобств, два одиноких, заброшенных старика. Мол, бедные, несчастные, добрые старики!

Нечего их жалеть, ничего в них нет хорошего. Что же до паршивого якобы домишки, то, если бы квартира, в которой проживали наши герои, признана была непригодной для жилья, их давно бы поставили на очередь, а раз не поставили, значит, жилось им не так уж и плохо.

А главное, посудите сами: один — алкоголик, подонок, валяющийся на голой раскладушке в обнимку с грязным котом, другой — неизвестно кто, может быть даже подпольный валютчик, с отвратительным акцентом и вечной перхотью по плечам. Нашли кого жалеть!

Если же вы вздумаете умилиться их дружбой — ох, хоть и повздорят старики иногда по пустякам, а живут все-таки почти душа в душу рядом уже двадцать лет — вот, тогда вы опять попадете впросак.

Какое там «душа в душу»! Пожалуйста, вам пример: уже осенью, в довольно-таки скверную погоду, возвращаясь вечером с работы, Кепкер обнаружил Нила спящим около парадной — и что вы думаете? Поднял? Отвел домой? Или хотя бы попытался разбудить? Не знаете вы Кепкера! Он спокойненько вошел в квартиру, разогрел себе обед, а, пообедав, сел к телевизору — смотреть «Семнадцать мгновений весны». И только тут он подумал, что надо бы вынести

мусор, отодрал себя от стула, взял в кухне помойное ведро, почти полное, и вышел на улицу.

Нила он застал на том же месте — у крыльца. Тот уже не спал, а сидел, прислонившись к стене, и внимательно всматривался в вечернее небо, робко выглядывающее из-за крыши высокого дома напротив.

Кепкер, поджав губы, прошел мимо, даже не взглянув на Нила, свернул под арку, во двор, погрел там ведром и той же неторопливой походкой вернулся обратно.

— Слышь, — окликнул его Нил с земли, — я сон сейчас видел.

Кепкер не сказал ни слова, еще больше поджал губы, а уголки рта опустил вниз. Но все-таки он остановился, стал иронически смотреть вниз на Нила и даже приподнял одну бровь.

Тогда, держась за стенку, Нил поднялся и, оглянувшись по сторонам, сказал Кепкеру на ухо, что только что видел во сне самого Троцкого.

— Как живой, — возбужденно шептал Нил, дыша водкой, — речь говорит, весь трясется, как зараза, а тут... — Нил ткнул пальцем прямо в губы оторопевшему Кепкеру, — тут — слюна!

Кончилось «бабье лето», кругом почернело, деревья стояли голые, по ночам за окном Ниловой комнаты стучал и стучал настырный дождь, не было покоя ему ни на минуту, будто и его тоже мучила бессонница, и он не мог закрыть глаза до самого рассвета, когда окно становилось сперва серым, а потом белым, и делалось видно, какое оно грязное, все в потеках.

Нил не пытался больше разговаривать с соседом о смерти, Кепкер ничего не понимал и боялся, и правильно боялся — их нации предстояло после смерти гореть на вечном огне.

Утром, лежа с котом на раскладушке, Нил усмехался, слыша в коридоре мелкие шаги Кепкера, шум воды и позвякивание чайника на кухне. Жадному Кепкеру не лень было вставать ни свет ни заря и тащиться под дождем через весь город — зарабатывать деньги, которые он и тратит-то как следует не умел. И только однажды Нил вдруг подумал: а что если не за деньгами бегают на работу Кепкер, а — от смерти? Вот так — бегают, бегают мимо нее, как бы при деле, авось — и обманет. «Зачем, — скажет смерть, — такого брать, он занят. Другое дело — Нил, у него для всего время найдется, а уж для смерти-то и подавно». И опять ни капельки Нилу не стало страшно — чего уж, человек он рабочий, простой, на фронтах воевал, не может быть, чтобы после смерти его как-нибудь обошли и обидели. Что именно там будет, он не думал, просто не боялся — и все. И даже с облегчением размышлял, что пальто драное, которым они с Барбарисом накрывались и в котором, останься Нил в живых, предстояло бы ходить еще зиму, что пальто это зимой ему уже не понадобится.

Вот только кот...

Как-то в конце октября дождь взял отгул. Целый день светило солнце, небо было хоть и холодным, а синим, с утра подморозило, и под ногами похрустывали лужи. Нил вышел из дома, держа на груди, под пиджаком, кота Барбариса, кот спал. Он дрых, пока Нил поднимался с раскладушки, не просыпался и

теперь, посапывал даже под пиджаком, тяжелый и горячий.

— Дрыхни, зараза, — сказал коту Нил, чтобы не дать себе расчувствоваться.

Эту столовую он приглядел и наметил давно. Окна ее были низко, форточки никогда не закрывались, и из нее на улицу шел вкусный пар. Было в столовой всегда чисто, на столиках — цветы в глиняных вазах, а у кассы сидела на табуретке толстенная бабища в белом колпаке. Лицо бабищи казалось грустным и не злым, и Нил, глядя на нее, поверил, что такая, наверное, никого не сможет обидеть.

Сейчас, дойдя до столовой и остановившись перед форточкой, он заглянул внутрь и увидел: бабища громоздилась на своем месте и зевала. Тогда Нил вытащил из-за пазухи спящего кота, встал на цыпочки и просунул Барбариса в фортку. Очутившись за стеклом на подоконнике, кот ничуть не удивился и не испугался, начал потягиваться, Нил же немедленно повернулся к окну спиной и бегом заковылял обратно. Напился он в тот день так, что не появился дома до утра, приходил в себя в вытрезвителе. Вернувшись домой в дурном настроении, встретил он на пороге квартиры Кепкера.

— Ходит! — взвизгнул Кепкер. — Хазер пьяный! По милициям его ищи!

Кто такой этот «хазер», Нил, конечно, не знал, наверное, сволочь какая-нибудь, но ругаться ему не хотелось, просто сил не было, чувствовал себя слабым и разбитым, будто не в вытрезвителе ночь провел, а на каменном тротуаре. Так что пожелал Нил Кепкеру валить к себе домой, на землю бедованную,

где его ждут не дождутся такие же, как и он, умники, а не вязаться тут к рабочему человеку, хозяину своей страны.

Все это Нил сказал Кепкеру как-то вяло, без удовольствия, да и Кепкер ничего не стал орать насчет бедованной земли, ему было некогда: торопился на работу — обманывать свою смерть.

А за Нилом смерть явилась ночью, перед самыми Октябрьскими праздниками. С вечера хлопали на дожде мокрыми полотнищами темные от воды флаги, строго смотрели со стен огромного дома на Литейном большие начальники. Кепкер, ворча, мыл на кухне газовую плиту, а Нил и выпил-то всего-ничего — бутылку бормотухи, — пол-литру назавтра берег, не будут ведь продавать, гады. Выпил и сразу заснул, а утром его уже не было.

Похороны устраивал Кепкер. С листом бумаги ходил по квартирам, всех записывал и везде повторял одну и ту же фразу:

— Прошу посильно принять участие в погребении товарища Нилова. Кто чем может.

Кто давал двадцать, кто — тридцать копеек, а кто даже рубль. Денег набралось, прямо скажем, маловато, но то ли жилконтора помогла, то ли Кепкер свои доложил, а только похороны получились совсем как у людей. Даже венки были с лентой, от старушек из домового комитета, тех самых, что как раз год назад ходили в милицию с заявлением, чтобы выселить Нила в качестве алкоголика на сто первый километр. На ленте золотыми буквами было написано:

«Петру Герасимовичу Нилову от группы товарищей».

Так вот и стал с этого дня Нил **Петром Герасимовичем Ниловым 1906—1973** и останется им теперь надолго, до того самого дня, когда сроет бульдозер на кладбище его могилу как непосещаемую. Но это случится еще не скоро, после смерти Кепкера, а тот живучий.

А кем они оба будут потом, когда исчезнет и холмик с надписью «**Борух Мордухович Кепкер**»?.. Как их будут называть, и нужны ли там вообще имена? Как встретятся и узнают ли они друг друга, когда тела обоих станут уже землей — одной землей и для Нила, и для Кепкера, общей их «**бедованной землей**»?

Вот какие странные вопросы приходят в голову иногда, но ответа на них искать не нужно. Пусть себе падают нам под ноги среди ясного лета неизвестно от какой горести засохшие листья, вовсе не обязательно видеть в этом нормальном явлении природы какие-то дурные, мистические знаки. Не нужно также попусту верить слухам, слухи распускают у нас не со зла, а от нечего делать, от скуки, чтобы было что обсудить, сидя вечером у ворот. Особенно нельзя слушать старух, будь они даже членами домового комитета. У старух — жидкие мозги и слепые глаза, им всегда трезвый человек с перепугу видится пьяным. Так что, все разговоры, что, мол, Кепкер стал выпивать, — чепуха и выдумки. Во-первых, известно, что о н и не пьют, а потом — как же может он выпивать, когда так следит за своим здоровьем и трясется, что попросят с работы на пенсию?

Поминки действительно были. И девять дней, и сорок. Все как полагается, тут Кепкер молодец, все организовал, не посмотрел, что у них у самих этого

не принято. А на поминках только дурак не пьет или скотина, которая не уважает покойника. Выпил с жильцами и Борис Михайлович, выпил и вел себя вполне прилично — не пел, не плясал и не дрался. По поводу того, что он будто бы плакал, можно смело утверждать, что это тоже вранье. Чего ему плакать, скажите, пожалуйста? Жалеть пьяницу, который за двадцать лет совместной жизни в коммунальной квартире ни разу не вымыл места общего пользования? Алкоголика, вечно выклянчивающего в долг? Нет, деньги Нил всегда возвращал аккуратно, в срок, тут ничего не скажешь, но разве это повод, чтобы плакать на его поминках?

Самое-то смешное, что кот Барбарис зимой вернулся. Шел как-то Кепкер из булочной и на лестничной площадке споткнулся о мягкое. Кот заорал, Кепкер выругался, а потом пригляделся в темноте и узнал Нилова любимца. Обрадовался Кепкер не слишком, но в квартиру кота впустил, и даже налил ему молока, правда, вчерашнего.

Хотелось бы тут написать, что Кепкер, ставший после смерти Нила чувствительным и добрым стариком, с радостью оставил у себя осиротевшего кота как память о покойном соседе и друге, но, увы, — это было бы неправдой. Кот, действительно, живет пока у Кепкера, живет уже третий год, с улицы видно, как лежит он, толстый, точно подушка, на подоконнике около горшка с кривым кактусом и дремлет. Но каждый раз, когда Кепкер несет в сетке рыбу и старухи, вечно торчащие на скамейке, ехидно спрашивают его: «Котику?» — Кепкер наставительно им отвечает:

— Я животных не люблю. Обижать их и могить голодом не буду, а любить — тоже не за что. Животное — это животное, хотя бы и Багбагис. А человек — это человек.

Зануда он все-таки, этот Кепкер!

Еще говорят, что в новой пятилетке дом пойдет на снос. Жильцов всех выселят в новые районы, предоставят, кому положено, отдельные квартиры, а дом сломают до основания. А затем выстроят на его месте новое, просторное здание из стекла и бетона, и придут в это здание новые хозяева, серьезные, строгие люди с портфелями, гораздо более подходящие, чтобы жить и работать в серьезном районе около улиц Воинова и Каляева.

Землю, где растут сейчас возле осевшей стены дома лопухи и одуванчики и другая сорная трава, всю перепашут, перелопатят и посадят там луковицы тюльпанов.

А может, и земли никакой не останется, всю ее загородит бетонное здание, до самого тротуара.

Впрочем, чего гадать и слушать бабьи пересуды! Как будет — так и будет.

Содержание

<i>Рукою мастера</i>	5
Курзал	9
Первая ночь	83
Земля бедованная	100

Катерли Нина Семеновна

РУКОЮ МАСТЕРА

Редактор *Чечулина Н. А.*

Корректор *Виноградова Н. В.*

Технический редактор *Шараева Е. Ф.*

Издательская лицензия № 02412

Подписано к печати 8.12.2000. Формат 70×90^{1/32}.
Печать офсетная. Бумага офсетная № 1. Печ. л. 8,5.
Усл. печ. л. 4,97. Уч. изд. л. 6,65. Тираж 1000 экз.

Заказ № 357.

Издательство журнала “Звезда”.
191028, Санкт-Петербург, Моховая ул., д. 20.

Отдел реализации (812) 273-76-92

Отпечатано с готовых диапозитивов в «ИПК “Бионт”»
Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., 86.